

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

BOU
TI
QUE

Мария БАРЫКОВА

ТАЙНА СЕМЕЙНОГО АРХИВА

ЛЮБОВЬ
СПАСАЕТ,
НО
НЕ ОПРАВДЫВАЕТ...



КНИЖКА

Мария Барыкова
Тайна семейного архива

«Автор»

2004

Барыкова М.

Тайна семейного архива / М. Барыкова — «Автор», 2004

Что означают для человека препятствия в виде времени, расстояния и национальности? Не являются ли они всего лишь одной из многочисленных возможностей постигнуть себя самого и найти свой путь в этой жизни? Молодая, уверенная в своей правоте немка сталкивается с историей жизни своего деда – офицера СС, и история эта представляется ей поначалу просто постыдной. Она пытается исправить принесенное им в этот мир зло, но оказывается пойманной в сеть непонятной для нее логики жизни России. Роман интересен неожиданным взглядом со стороны на Россию и русских людей, особенно на Петербург. Читатель столкнется с уже подзабытой нами Россией начала девяностых, а также с несколько непривычным взглядом на события Второй мировой войны.

© Барыкова М., 2004

© Автор, 2004

Содержание

Предисловие	5
Пролог	7
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Мария Барыкова

Тайна семейного архива

Предисловие

Два года назад я участвовала в составлении большой антологии немецкой романтической прозы. Во время работы мне довелось встретиться с бывшей однокурсницей по филфаку, которую я хорошо помнила не только из-за ее бурных романов, но и потому, что она, одна из немногих, ездила тогда в Западную, еще не воссоединенную Германию.

Алина по-прежнему оставалась фантастическим существом, не признающим никаких условностей. Уже прощаясь со мной в прокуренном издательском кафе, она вдруг принялась рыться в своем объемистом рюкзаке.

– О, Господи, чуть не забыла! – И вытащила на свет божий пачку распечатанных на принтере листов. Я молчала, поскольку Алина уже успела поднадоесть мне своими непрофессиональными переводами художественных текстов. – Это не я, не я! – Она замахала руками, поймав мой неодобрительный взгляд. – Это... из Зигмарингена. – Прозвучавшее немецкое женское имя было смутно знакомым, но ни с кем конкретно не ассоциировалось. – Как, разве ты ее не помнишь? – удивилась Алина.

Я машинально просматривала страницы немецкого текста, в котором мелькали какие-то ангелы, русские девочки, красавцы-эсэсовцы и, судя по диалогам, вполне современная петербургская публика.

– Может быть, ты все же объяснишь, что это такое?!

Алина посмотрела на меня едва ли не с жалостью.

– Это попытка разобраться в себе. Через нас, русских. Через любовь. А вообще – это роман. Она написала его после того, как... Впрочем, сейчас это неважно. Прочитаешь и сама все поймешь. Если что, звони мне или прямо ей, телефон там есть. Единственное, о чем она просила: чтобы ее имя в связи с этим текстом не упоминалось.

– Но ты же сама только что назвала мне ее имя!

– Тебе можно, – засмеялась Алина. – Но больше – никому.

– И что прикажешь со всем этим делать?

– Не знаю. Что хочешь. – Тряхнув длинными рассыпающимися волосами, моя бывшая однокурсница помчалась к выходу. На пороге она внезапно обернулась и прямо через все кафе крикнула: – Помнишь, тогда, в Малом, когда Хужурнов спектакль сорвал?! – Красный рюкзак сверкнул уже в дверях.

Этого я тоже не помнила и, сунув листки в сумку, окончательно переключилась на предстоящее совещание в редакции.

Но, возвращаясь домой по улицам, уже затянутым зеленоватым дымком распускавшихся почек, я, следуя, вероятно, тайной работе подсознания, прошла через площадь Искусств. И там, в смешанном запахе выхлопов и первой травы, вдруг вспомнила и сорванный спектакль, и Хужурнова, и немку, о которой говорила Алина.

Это было лет десять назад, наверное, точно в такой же весенний день. Я помню, что было тепло, потому что мы с Алиной шли в театр без пальто. Она пригласила меня на «Бахчисарайский фонтан» – заведующим постановочной частью Малого работал не то ее друг, не то бывший любовник, – и я почему-то согласилась, хотя учились мы с Алиной в разных группах, да и разница интересов не очень способствовала общению.

Пройдя через служебный вход, мы уселись в актерском буфете, заказали кофе, и Алина унеслась искать своего приятеля. Я осталась одна, не считая трех заgrimированных обитатель-

ниц гарема, кутавшихся в клубы сигаретного дыма, и пришедшей вскоре девушки, судя по одежде и пластике, иностранки. Я помню, меня тогда поразила явственно отражавшаяся на ее миловидном лице борьба между желанием открыться этому окружавшему ее незнакомому миру – и невозможностью или неумением это сделать. Она сидела, вытянувшись в струнку, словно чего-то ждала или даже боялась.

А спустя минут десять прибежала возмущенная, но задыхавшаяся от смеха Алина и рассказала, что этот самый ее приятель совершенно пьян, перепутал все декорации, и теперь балет вряд ли начнется вовремя, если вообще пойдет. Но не успев закончить своей новости, она увидела иностранку в углу и резко нахмурилась.

– Извини, – бросила она мне и быстро подошла к девушке. Та густо покраснела. Уж о чем они говорили, я не знаю, но вскоре Алина привела ее за наш столик, и я впервые услышала ее короткое имя. Девушка совершенствовала свой русский язык в нашем университете.

Говорить было особенно не о чем – повисло неловкое молчание. И чем бы оно закончилось, неизвестно, если бы в кафе не вошел здоровенный мужик, одетый очень стильно, но несколько потрепанно. Он шел к нам, совершенно прямо, как ходят очень пьяные, но железно владеющие собой люди. Алина опять начала смеяться, а пальцы немки, которыми она, как маленькая девочка, обхватила чашку, побелели.

– Привет, девчонки! – красивым низким голосом сказал вошедший нам с Алиной и, быстро бросив взгляд в сторону девушки, пробормотал: – А, немцы, великие учителя наши! – И упал рядом на свободный четвертый стул. – Зря, девчонки, пришли, настроение у меня нынче не балетное. – Он громко, но невесело рассмеялся.

Алина, тоже не переставая смеяться, взъерошила ему волосы, и завязался совершенно дикий русский разговор с воистину балетными прыжками от вчерашней попойки до кантовской «вещи в себе». Правда, болтали в основном мы с Алиной, а мужик задумчиво прикусывал нижнюю губу и то откровенно, то исподволь смотрел на несчастную немку, которая, по моему, хотела, но почему-то не могла уйти. Я сидела как раз между ними, и вдруг на каком-то полуслове густой жар, как ударная волна, метнулся от него к ней. Наверное, это почувствовали все, ибо разговор угас, и Алина тут же решительно встала.

– Ну, хватит. Завтра, между прочим, у нас семинар. – Прищурившись, она посмотрела на пьяного декоратора и устало махнула рукой. – Иди в регуляторную, поспи... А ты очнись! – Она тряхнула девушку за плечо и заторопилась к выходу.

Мы вышли в вечер, бывший, как и положено в мае, бесцветным и бездонным, обещающим все, и – разбежались в разные стороны. Назавтра я еще хотела расспросить Алину про эту странную пару, но моя однокурсница пропадала в каком-то очередном романе, а потом грянула сессия, а потом этот эпизод забылся вовсе. Правда, дольше всего я помнила, что мужик был очень хорош: не красив, а именно хорош какой-то глубокой мужской силой...

Так неожиданно вспомнив тот давний вечер, я, придя домой, прочитала роман, а утром позвонила по указанному в рукописи номеру. Но оказалось, что немка уже уехала в Германию. Дозвониться же до Алины было, как всегда, невозможно.

Написанное произвело на меня достаточно странное впечатление, и не со всеми оценками автора я готова была согласиться. Тем не менее, как только закончилась работа над антологией, я взялась за перевод романа.

Он перед вами.

Мария Барыкова, 2000 г.

Пролог

Не сотвори себе кумира

Пронзительное майское небо синело так, как только может синеть небо на севере: щедро в недолгой своей силе, и печально в этой сознаваемой всеми северянами краткости. Было даже нечто пугающее в его бездонной синеве, словно между землей и небом уже не было границы. Прозрачный, чуть дрожащий от жары полуденный воздух сгушался вокруг недавно одевшихся кустов и деревьев и уж совсем мутнел, опускаясь на дорогу, где смешивался с тонкой белой пылью, как мукой присыпанной травы, камни... и людей.

А людей в этот день на дороге было много. Шли те, к кому за четыре года войны привыкла уже вся Европа, – вынужденные переселенцы или, как их стали называть в России, беженцы. Брели закутанные в белые платки женщины, опустившие головы мужчины; все они несли узлы и тюки. Брели тощие, еще не пришедшие в себя после долгой зимы лошаденки. Телеги скрипели так же, как и сотни лет назад. Только вместо гула голосов, обычно стоящего над такими колоннами, над этим людским потоком, растянувшимся почти на километр, висело молчание, прерываемое лишь всхрапыванием лошадей, ревом глохнущего и вновь заводимого мотоцикла и громкой, дико звучащей среди берез и лилово-розовых валунов немецкой речью.

Шла колонна русской молодежи, угоняемой в Германию.

Они шли молча, без слез и воя, уже оплаканные; нечеловеческие крики матерей и скупые слезы отцов остались там, на сборном пункте в волостном местечке Лог, куда им было приказано явиться к пяти утра и где они, отделенные от близких редкой цепью автоматчиков, просто-яли на постепенно накалявшейся солнцем площади долгие страшные часы. Автоматчики смеялись, курили, предлагали закурить парням, а девушкам совали конфеты, пытались объяснить, что горевать не о чем – ведь в Германии их ждет настоящая жизнь. Они, можно сказать, даже завидовали этим русским недоумкам, которые через несколько дней будут уже не среди этих грязных домов и бескрайних полей, а на тучных берегах золотого Рейна или в уютных горах серебряного Гарца. Но девушки конфет не брали и громко, по-бабьи, подвывали, а юноши еще ниже опускали головы, пряча горевший в широко расставленных славянских глазах огонек ненависти. И немецкие солдаты, измотанные первым годом русской войны, бессмысленным стоянием под палящим солнцем и этим откровенно пренебрежительным отношением к великому райху, начинали злиться и без видимых причин сгонять стоявших во все более тесное кольцо – где кулаками, а где и прикладами. Каждое их движение вызывало у людей, облепивших затоптанную тысячами ног и загаженную конским навозом площадь, дружный вздох ужаса, смешанного с проклятиями и рыданиями.

На шестом часу озлобляющего обе стороны стояния из толпы провожающих вышел высокий широкоплечий мужик с редкой русой бородой, в пиджаке, лоснящемся на локтях и лацканах, и тщательно вычищенных старых сапогах. Нервно мигая и стараясь не смотреть по сторонам, он, определив старшего по легкой черной пилотке на вьющихся светлых волосах в ряду немецких касок, подошел к нему.

– Ваша бродь, – неловко, но решительно начал мужик, – вы уж не сердчайте, но жарато, стало быть, такая, что и лошадь не выдержит, а тут что? Дети! Так вот я... Воды бы, ваша бродь! – и, не уверенный, что его понимают, мужик изобразил, что пьет из ведра. – Вон, мои девчонки совсем стомились, – он махнул рукой в левую часть толпы, и лейтенант, следуя за его жестом, увидел двух девушек: одну постарше, в платье, сшитом из толстой мешковины, и другую – совсем еще девочку, лет четырнадцати, с грубым мешком за плечами и лицом, явно напоминавшим черты заговорившего с ним мужика.

В ее глазах не было слез, не было и той суровой озлобленности, которая присутствовала почти на всех окружающих лейтенанта лицах. Загорелое, неправильное и простое лицо девушки светилось тем ожиданием неведомого, но неизбежно ужасного, ожиданием, которое младший лейтенант Вальтер Хинш в точности запомнил у своей шестнадцатилетней невесты, когда прощался с нею перед отправкой на Восточный фронт – после ночи, лишившей ее невинности.

– Принесите воды! – крикнул он, и через пару минут по рукам угоняемых пошло три ведра с теплой, отдававшей тиной водой.

– Премного благодарен, – кланялся мужик, – а то ведь что? Дети! Кто ж им еще когда водички подаст... – Так и не разогнувшись полностью, мужик снова отошел на край площади, и лейтенант Хинш не увидел глубоко спрятанной в карих глазах русского ненависти. Он только заметил, что мужик встал рядом с высокой статной девушкой, голова которой была обвязана клетчатым платком, а все лицо дергалось как от зубной боли. Не успел лейтенант удивиться, почему за кордоном стоит не она, куда более подходящая по возрасту и комплекции, а, видимо, ее младшая сестра, как раздалась команда строиться.

Колонна шла сорок километров до ближайшей железнодорожной станции: то полями, нетронутыми с прошлого страшного лета, то густым лиственным лесом, а то и раскинувшись вокруг болотами, так обманчиво манящими прохладной упругостью кочек. Хинш, проезжая на своем BMW вдоль колонны, случайно заметил дочку просителя воды, свесившую ноги с телеги, и в который раз поразился, почему никто из этих крепких юношей и девушек, наверняка знавших местность как свои пять пальцев, не предпримет попытки использовать это преимущество – раз уж они так не хотят ехать в Германию. Если бы он был на их месте и дорога шла там, где у Альстера раскинулись кладбища, заросшие бирючиной... О, его не остановили бы русские винтовки! А они просто шли, шли с суровыми лицами, шли, словно выполняли какой-то долг – молча, не прощаясь и не прося.

Впрочем, некоторые все-таки разговаривали. Это были в основном девушки помоложе, в том числе и широкоскулая с самодельным рюкзаком. Выражение непоправимости происходящего и какого-то мистического ужаса перед тем, чему еще предстоит случиться, так и не сходило с ее лица, и сердце Хинша вновь сжалось от воспоминания об оставленной невесте.

Студент гамбургского университета, взятый на фронт с третьего курса отделения языкознания, он обладал явной способностью к языкам и за восемь месяцев пребывания в этой северной глуши под старинным Плескау¹ научился понимать тягучую речь местных жителей с невообразимым, как ему казалось, недоступным пониманию неспециалиста обилием согласных и их диких чередований. Хинш передал мотоцикл фельдфебелю Геллеру и без всякого разрешения уселся на край телеги, где мерно покачивались обе девушки, а впереди маячила серая, давно потерявшая цвет кепка русобородого мужика.

– Ну, вот, я ж и говорю, – тянула низковатым голосом та, что постарше, – невезучая ты, Манька! Это ж умудриться надоть – уши! Да что ей, корове такой, уши!?

– Лизавета еще с зимы ими мается, еще до о-по-ве-ще-ния, – по слогам выговорила незнакомое, но так резко изменившее ее жизнь слово Манька. Голос у нее оказался тоже низким, но мелодичным. – Как с осени-то они навсегда стали, так у нас в Почапе и клуб открыли. Помнишь, магазин купцов Толпятовых, что завсегда заколоченный стоял? Так они прямо в нем все и сделали. Лавок настругали, патефон привезли и портрет свой усатый повесили. Мне тятка не разрешал, мы ведь сначала в лесу, на той стороне речки в норах жили. – Хинша невольно передернуло при этих словах, но затем он еще внимательней стал прислушиваться, зная, что именно в норах живут те, кого больше всего надо опасаться в этой стране и зимой, и летом, – партизаны. – Тятя с Лизаветой еще давно их вырыли, в июле, мы и вещи туда успели

¹ Плескау – немецкое название Пскова.

перетаскать. У меня у самой там такая норушка хорошенькая была сделана, – девочка мечтательно прикрыла глаза, но была оторвана от своих воспоминаний более приземленной подружкой:

– И что клуб-то? Офицеры там плясали?

Маньку оказалось не так просто сбить с толку.

– И вот в субботу тогда сидим мы после бани, сладко так, кукушка свое кукует, а пенка свое, и вдруг Лизавета бежит, летит прям по огороду, криком кричит: «Немцы, тятенька, немцы, туча несметная, и на этих своих цыклах-мыклах, сей же секунд тут будут!» Тятенька нас за руки и бегом через поля, и в лес, и за речку, так я тогда немцев-то и не видала... – В голосе девочки послышалось даже какое-то сожаление, но тут же она равнодушно скользнула глазами по сидящему рядом Хиншу, словно он и не был одним из тех самых немцев, которых она не успела тогда увидеть. – И долго не видала, до самой зимы, когда в земле невоготу стало. А вернулись домой – там уж порядок ихний крепко стоит, и клуб. По субботам все собирались, как это там?.. – И к удивлению Хинша девочка довольно верно пропела по-немецки «И ты снова ждешь меня под фонарем, как и тогда...»²

– Сначала только Лизавета ходила – то из клуба конфету принесет, то печеного чего. Тогда тятя и меня стал пускать. Ах, Валька, пришла я – они все красавчики, блестит все, пахнет вкусно, скрипит... Прилюдно не лапали. Вот Лизавета-то и хороводилась с одним, всю зиму вечерами таскалась, а в феврале, помнишь, морозище какой грохнул, она уши-то и простудила. Ее фершал в Логу сразу забраковал, а ведь по десять с деревни надо было... Она вчерась еще, знаешь, как плакала? – словно оправдывая сестру, вздохнула Манька. – Да кто ж с тятькой работать-то будет? От меня какой прок? – с крестьянской практичностью добавила она.

– Ничего, в неметчине фрицы и от тебя прок найдут, – ухмыльнулась Валька, и губы ее искривила нехорошая улыбка. При упоминании о ждущей ее чужбине Манька сразу смолкла, и на ее некрасивом личике вновь застыли тоска и покорность судьбе.

На белую дорогу стали ложиться предвечерние тени. Птицы в лесу засвистали громче, словно сбросили с себя тяжелый груз еще одного дня, раскаленного необычной для этой поры жарой и придавленного тяжелым кованым сапогом чужих людей в светло-стальной форме. Где-то впереди послышались гудки паровозов на станции, и через час голова колонны стала втягиваться в полосу перрона, пропахшего шпалами, человеческим и конским потом, грязью военного вокзала. Но даже сквозь весь этот смрад пробивался тонкий и горький аромат распустившейся черемухи. Состав уже стоял – рядом с изуродованным осколками зданием водокачки, при взгляде на которую некоторые из русских перекрестились, видимо, за отсутствием церкви, а лейтенант Хинш вспомнил живописные руины средневековых замков на Одере.

Вокзальная команда привычно и быстро рассортировывала юношей и девушек, преградой между отправляемыми и их близкими стояла уже не тонкая цепь ленивых гарнизонных солдат, а плотный ряд надменных войск шутц-штафеля³, которые даже на Хинша смотрели сквозь полуприкрытые от сознания превосходства ресницы. Понимая, что его работа выполнена, он отошел от вновь завывшей, забившейся толпы и сломал большую черемуховую ветку. От нее до дрожи пахло юностью, цветущими садами, лугами на Эльбе... Но неожиданно в недостижимый рай его воспоминаний ворвался запах дегтя и деревянного масла – перед Хиншем, уже не опуская головы, стоял все тот же мужик.

– Слышь, ваше бродь, – громко, с решимостью отчаявшегося проговорил он, – девка-то моя совсем малая, дура еще совсем. Позволь напоследок слово родительское сказать.

Хинш, весь еще во власти сладостных дуновений речного гамбургского ветра, на этот раз никак не мог понять, чего хочет от него этот еще не старый и крепкий человек, но все-таки

² Из популярной немецкой солдатской песни «Лили Марлен».

³ Немецкое название войск СС.

пошел за ним к черной цепи перед вагонами. Смуглое лицо в платочке то пропадало, то возникало у самых дверей. Равнодушно и в то же время четко – как, по его немалому опыту, только и было возможно разговаривать с представителями шутц-штафеля, – Хинш попросил подвести к нему указанную интернируемую. Маньку, с округлившимися от ужаса глазами, вытолкнули за цепь так, что она едва не ткнулась головой в жесткий погон лейтенанта.

– Вы имеете одна минута.

Заскорузлые узловатые пальцы вцепились в девчоночьи плечи, дрожавшие под клетчатый платок – видимо, лучшим из того, что было.

– Кровиночка моя, Марьюшка, сироти-и-инка! – ударил в уши лейтенанту трепещущий мужской голос. – Ты уж там... За Вальку держись, она хваткая, не пропадет, а главное – терпи, Марья, все терпи, Бога не забывай и мать, до сатанинства этого не дожившую... – Лицо девочки под натиском горячечных слов не выражало уже ничего, кроме откровенного физического страха. – Россию, Россию помни, черемуху эту, речку нашу... Эх, ироды! – Мужик словно забыл, где он, и, вскинув длинную руку, погрозил всему вокзалу огромным черным кулаком. В ту же секунду эсэсовец толкнул девочку обратно, в давку узких дверей.

– Тятя-я-я! – Но крик утонул в нескончаемом вое таких же голосов. Еще несколько минут, и поезд, составленный наполовину из пассажирских, наполовину из товарных вагонов, грубо качнулся и тронулся на запад – туда, где в чуть лиловом северном вечере глазами ненасытного чудовища горели разноцветные огни семафоров.

Страшный звериный рык вырвался из груди русобородого мужика, и он упал на шпалы, царапая и едва не выламывая их из теплого песка руками.

Хинш подошел и легонько ткнул его носком пропыленного сапога, сделав это отнюдь не для того, чтобы унижить и без того несчастное существо, а лишь по той причине, что находиться на путях было категорически запрещено и в любой момент железнодорожная охрана могла пристрелить этого русского безо всякого предупреждения. Перед глазами Хинша стояло опрокинутое в страхе и боли лицо девочки Маньки, мерцавшее отраженным светом его белокурой Хильды.

Мужик тяжело поднялся с полотна и отправился в сторону станции, на мгновение посмотрев на лейтенанта, и Хиншу стало не по себе: в скользнувших по нему глазах стояла не злоба, не ненависть, а презрение.

Наступала ночь двадцатого мая сорок второго года.

* * *

Кристель мимоходом глянула на себя в зеркало и, как обычно в последнее время, осталась вполне довольна: чуть коротковатый, но точеный носик и яркие карие глаза на круглом, смугловато-розовом лице делали их обладательницу похожей скорее на француженку, чем на немку, и втайне Кристель Хелькопф была этим довольна.

Недавнее разрушение Берлинской Стены проявило слишком много тех национальных черт, которые немцы по эту, южную сторону, предпочитали не замечать или, по крайней мере, не афишировать.

Три месяца назад Кристель с Карлхайнцем, ее уже более чем три года нежным приятелем, совершили, как и тысячи им подобных, небольшое путешествие по ту сторону Стены и вернулись, мягко говоря, несколько обескураженные. Вернее, обескураженной оказалась Кристель – Карлхайнц, внук печально известного нацистского генерала, всегда был настроен к ости⁴ враждебно, и этот вояж только укрепил его уверенность в том, что «красные» всегда и везде изгадят все, что могут, даже такую неприступную скалу, как немецкая аккуратность.

⁴ Презрительно-бытовое название восточных немцев.

Теперь, после всего увиденного там, Кристель было трудно с ним спорить. Эти ветхие огромные здания, созданные неизвестно кем и неизвестно для чего, ибо для людского жилья они вряд ли подходили; эти ужасающие дороги, по которым новоявленные обладатели «порше» и «феррари» пытаются ездить так же, как это делают их западные соотечественники на автобанах Франкфурта и Мюнхена, из-за чего постоянно происходит дикое количество ужасных и нелепых аварий; эти уже с утра нетрезвые рабочие, сидящие с газетой в руках на развалинах каких-то бесконечных строек и потягивающие из мятых пакетов кефир... Подобных примеров было множество, тем более что Кристель упростила Карлхайнца задержаться на пару дней сверх запланированного в надежде найти хотя бы что-нибудь хорошее, а главное – живое. Увы, этим надеждам не суждено было сбыться, наоборот – вечером последнего дня в городе имени создателя «Капитала»⁵ ловкий господин из Ульма, успевший открыть на Востоке некое подобие туристического агентства для любопытствующих туристов с Запада, повел их на экскурсию, честно предупредив, чтобы они ничему не удивлялись. После уже привычных долгостроев, бесформенных памятников и как-то натужно улыбающихся людей, он привел их в серую пятиэтажку, откуда не так давно жильцы были за счет федерального правительства переселены в пригородные коттеджи. Унылые грязно-зеленые стены, давящие потолки, залапанные ситцевые тряпочки на окнах, неприкрытые переплетения поросших плесенью труб... Но главным потрясением для нее явился обнаруженный на полу в одной из жилых комнат остроконечный, едва ли не по пояс человеку, сталагмит, который мучительно напоминал что-то очень и очень знакомое. Карлхайнц, ужасно любивший все неординарное, оживился.

– И что же это? – весело полюбопытствовал он.

– Посмотрите вверх, – сухо пояснил гид. – Видите на потолке крюк?

– Да, – уже менее радостно ответил потомственный тевтон и несколько растерянно взъерошил густые, светлые до белизны волосы.

– Так вот, поясню: на этом крюке несколько лет висела клетка с попугаем, и милая птичка неустанно гадила, а ее милые хозяева не считали нужным...

Карлхайнц выругался и, схватив побледневшую от дурноты Кристель, выскочил на улицу.

Разумеется, путешествие на этом закончилось, и, возвращаясь в Эсслинген, они всю дорогу молчали: Карлхайнц – оттого что обсуждать, по его разумению, было нечего, а Кристель – мучительно переживая национальную раздвоенность как свою личную.

Поэтому сейчас, поглядевшись в зеркало и в очередной раз найдя в себе сходство с французенкой – несмотря на то, что в ее жилах на шесть поколений назад не было ни капли негерманской крови, – Кристель весело подмигнула своему отражению и спустилась со второго этажа в гараж.

Дом, в котором они жили с Карлхайнцем, принадлежал еще ее прадедушке и был построен на самом излете умиравшего модерна – в нем уже не было капризной грации, но не присутствовала еще и примитивная тяжеловесность. Прадед держал дорогой пивной погреб, остальные поколения семьи Хайгет неуклонно следовали его примеру и достигли определенной известности, отчего даже улица давно называлась Хайгетштрассе. Кристель первая нарушила традицию, став не хозяйкой бездонных бочек, а исполнительным директором первого в их земле приюта равных возможностей. Хотя ей и нравилось жить на улице, где на каждом аккуратном двухэтажном домике красовалась яркая синяя табличка со столь знакомой фамилией.

Усевшись за руль своего новенького «форда-мондео», купленного не столько за рабочие качества, сколько за прекрасные женственные формы, она медленно поехала по утопающей в зелени улочке и прощально махнула рукой с незапамятных времен висевшей на доме узкой пивной кружке – вывеске, недвусмысленно говорившей о профессии жильцов. Впереди

⁵ Речь идет о Карл-Маркс-штадте. Теперь снова Хемниц.

Кристель ждали два почти свободных дня: Карлхайнц уехал в Гамбург навестить отца, которому уже давно перевалило за семьдесят, а потом собирался отправиться на очередное испытание новых моделей каких-то агрегатов «Боша», где он работал одним из ведущих конструкторов. Карлхайнц давно предлагал Кристель перебраться в столицу, поближе к его работе, но когда она представляла себе здание компании с пятью огромными черными буквами наверху⁶ и несметным количеством машин внизу, ей становилось не по себе, а на память тут же приходила история о том, что именно это слово – на высокой белоснежной стене – было первым, которое она в детстве прочла самостоятельно. Тогда ее радости не было предела, она твердила его на все лады, то шептала, то пела – до тех пор, пока водивший ее на прогулку дядя Хульдрайх не дернул ее резко за рукав розового пушистого пальто.

– Замолчи, несносный ребенок! – необъяснимо зло сказал он. – Это становится уже неприличным!

– Но почему, дядя? – Слово было таким аппетитным, оно так округло скользило в вытянутых колечком губах...

– Потому что именно так нас, немцев, во время войны называли французы. Бош – это... – Хульдрайх замялся, и по его лицу скользнула заметная даже маленькой девочке мучительная гримаса. – Это по-французски означает «свинья».

– О... – испуганно и печально протянула Кристель, не зная, что ответить, и тоже чувствуя себя обиженной такой вопиющей несправедливостью. – Но за что?

Дядя промолчал, и они пошли домой. А когда много лет спустя Кристель напомнила ему этот давний эпизод, Хульдрайх нахмурился и мягко положил руку ей на плечо.

– Знаешь, я до сих пор не могу забыть, как они шли мимо нашего дома по утрам, рано, когда все добропорядочные люди обычно спят. Сначала они шли молча, понурившись, совсем непохожие на элиту вражеской армии, а потом... Потом стали поднимать головы, руки и производить сначала тихо, а потом все громче и громче: «Боши! Проклятые боши! Грязные боши!» А то и что-нибудь похлеще. Я стоял у окна, знаешь, в том крошечном эркере на втором этаже, и смотрел, смотрел... Я не мог оторвать от них взгляда. Мама ругалась, просила Мари по утрам не выпускать меня из детской, грозилась пожаловаться отцу, но это было сильнее, это было как наркотик. Я каждое утро ждал эти колонны, а потом все пытался понять – за что? Мы ведь были такими хорошими, мы так работали! Мама целый день не поднималась из бара, отец приходил едва ли не под утро, даже меня, восьмилетнего, заставляли порой помогать в саду или на кухне, а уж про Марихен я и вообще не говорю, она просто падала от усталости...

– Какая Марихен? Хульдрайх смутился.

– Это наша тогдашняя нянька...

– Но ведь мама говорила, у вас была Аннхен?

– Аннхен была позже, после войны. А тогда была Марихен. Мама просто не помнит, ведь в сорок пятом ей исполнилось только четыре. Но теперь все это уже не имеет значения... И зачем ты только выбрала социальную работу? – перевел дядя разговор на другую тему.

В тот год Кристель объявила, что не намерена заниматься экономикой – ни в масштабах страны, ни, тем более, в масштабах частного предприятия, а хочет посвятить себя убогим и старикам. Мать и дядя были в шоке, отец, давно разошедшийся с матерью и разводивший в Австралии каких-то особых овец, без всякого сопроводительного письма прислал чек на крупную сумму, а бабушка Маргерит, поглядев на внучку большими бледно-голубыми глазами, печально вздохнула и прижала к худому плечу короткостриженную, темноволосую голову Кристель.

...Ах, как жаль, что бабушка не увидела ее детища! Увлечшись воспоминаниями, Кристель не заметила, как добралась до работы, и теперь ей оставалось только припарковать

⁶ В немецком написании – BOSCH.

машину где-нибудь неподалеку – в ухоженный внутренний дворик приюта она всегда входила только пешком.

Приют равных возможностей, первый в земле Баден-Вюртемберг и второй во всей Германии, внешне представлял собой квадратное здание, наподобие двухэтажного таун-хауса, оживленного по фасадам всевозможными фонарями, эркерами, круглыми и треугольными окнами. Во дворик вели три декоративные арки, щедро увитые плющом и виноградом, и одна настоящая, с кованой стильной решеткой. Внутренне же приют был истинным маленьким государством со своей системой ценностей и определенными служебными институтами, только население этого государства составляли неизлечимо больные дети и одинокие старики. Мысль о том, чтобы дать возможность и тем и другим почувствовать себя нужными, появилась у Кристель во время ее дипломной стажировки в Штатах. Но если там такие эксперименты проводились периодически и, так сказать, только в медицинских целях, то Кристель Хелькопф, двадцатитрехлетняя немка из провинциального южного городка, решила сделать это в своем приюте постоянной формой жизни. Полтора года она добивалась осуществления проекта, бомбардировала письмами крупные фирмы и мелких предпринимателей, была на приеме у самого Эрвина Тойфеля⁷...

Ее старания увенчались успехом. Год назад приют был построен и торжественно открыт. Благодаря этому смелому предприятию Кристель познакомилась с Карлхайнцем: именно концерн «Бош» стал главным патроном приюта.

Но самое интересное и трудное началось после открытия. Поначалу Кристель верила, что той любовью, которую она питала к своим одинаково жалко улыбающимся подопечным, она сможет спокойно решить все проблемы, но вскоре поняла, что без твердой руки и железного порядка нельзя – иначе это хрупкое суденышко вовсе не сдвинется с места. Пришлось, с одной стороны, значительно увеличить штат, а с другой – дать старикам возможность воздействовать на все происходящее в «Роткепхене», как очень скоро стал называться этот дом под стрельчатой красной крышей.⁸ И постепенно дело пошло: старики помолодели, поздоровели и обнаружили массу скрытых доселе талантов, а в квартирах и холлах зазвучал звонкий детский смех. Найти конец тонкой ниточки, ведущей к успеху, Кристель отчасти помог ее дядя.

Хульдрайх Хайгет в свои пятьдесят четыре года был закоренелым холостяком и смотрел на мир глазами настороженного ребенка. Все знавшие его, признавали за ним ум, такт, удивительное для немца отсутствие практичности и в избытке – мечтательность. За всем этим стояла какая-то странная печаль, словно он пытался увидеть и понять нечто такое, что недоступно здравому и спокойному взгляду на жизнь.

– Твой «Роткепхен» прямо монастырь какой-то, – признался он Кристель однажды, – а мне всегда... было любопытно войти в такую жизнь. Может быть, ты доверишь мне роль, ну... этакое барометра. Ведь атмосфера в подобного рода заведении – одна из основных составляющих успеха, если не главная.

Кристель с радостью согласилась, и Хульдрайх практически переселился в приют, оставив им с Карлхайнцем родовой дом на Хайгетштрассе. Он подолгу беседовал со стариками, и порой лицо его светлело.

– Твой дядя совершенно помешан на минувшей войне, – не раз говорил ей Карлхайнц. – Впрочем, чего удивляться – с таким-то именем!

Кристель только пожимала в ответ плечами, невольно вспоминая, что дядя как-то странно кривится, когда его называют полным именем, звучавшим нелепо и помпезно одновременно и вызывавшим самые неприятные ассоциации – Фридрих-Адольф-Хульдрайх.

⁷ Премьер-министр земли Баден-Вюртемберг в 90-е годы.

⁸ Роткепхен – красная шапочка (нем.)

– Они все были тогда помешаны на своей исторической причастности. Мамино имя тоже звучит ого-го! Уте-Адельхайд – ни больше ни меньше!

– Как хорошо, что ты просто Кристель! – смеялся Карлхайнц, целуя ее густые гладкие волосы.

* * *

Время на работе пролетало незаметно: оно было слишком наполнено живыми человеческими радостями и бедами. С утра, прежде чем отдать какие-либо распоряжения, она обходила свои владения: разговаривала со всеми, переживая за всех, сочувствуя всем. Сначала они с Карлхайнцем боялись, что такое растрачивание ее собственных эмоций плохо скажется на их отношениях. Но вышло наоборот: благодаря этой напряженной психической жизни в Кристель словно открылся неиссякаемый источник энергии, и теперь ее переполняло ощущение непреходящего счастья, придающего остроту уму и щедрость телу.

Вот и сегодня, когда апрельский воздух щекотал губы влагой и мятой, а впереди был вечер, давно обещанный ей дядей Хульдрайхом – они собирались привести в порядок заброшенный семейный архив, – Кристель быстро шла по залитому солнцем первому этажу, где размещались служебные помещения, успевая на ходу кому-то из сотрудников улыбнуться, с кем-то перекинуться парой слов, а на кого-то взглянуть притворно хмуро. Навстречу ей уже ковыляла сверху по широкой, с двумя пандусами, лестнице, девяностолетняя госпожа Кноке, любимая всем приютом за умение готовить бузинный чай, при простуде поднимавший за три дня на ноги любого, и способность пересказывать сказки братьев Гримм так, что конец каждый раз оказывался разным. Она жила в квартире приюта вместе с мальчиком, страдавшим тяжелой формой детского паралича, уверяла, что смысленей ребенка не видала за всю свою жизнь, и всегда первой узнавала все новости. Вот и сейчас Кристель прочла на ее морщинистом лице торжество еще мало кому известного знания.

– Доброе утро, фрау Карин. Сегодня такой замечательный ветерок на улице, – улыбнулась Кристель, как бы не замечая важного вида старушки, позволяя ей подать новость с наибольшим эффектом.

– Апрель – серебряный бубенчик, – благодарно ответила Кноке и вцепилась сухими пальцами в загорелую руку Кристель. – А вы знаете, что утром привезли новенького?

– Еще нет. – Кристель сделала удивленные глаза, несмотря на то, что знала о предстоящем прибытии нового обитателя еще несколько дней назад. – И что он?

– О, очень, очень плох, – вздохнула Кноке, как все в подобного рода заведениях склонная переоценивать собственную бодрость и с жалостью смотреть на остальных. – Он ветеран и, кажется, с Восточного фронта. Сейчас с ним господин Хульдрайх, они наверху, в «садах». – Каждая сторона дома имела свое имя и называлась соответственно «поля», «сады», «луга» и «леса» – так больные дети проще запоминали расположение квартир, а старикам это просто нравилось.

– Хорошо, я поднимусь к ним.

– Да-да, а то господин Хульдрайх что-то очень нервничает! – крикнула ей уже в спину старушка.

Кристель сделала все необходимые распоряжения и поднялась в «сады». Она застала дядю и новоприбывшего погруженными в тихую, но, судя по лицам, напряженную беседу. До слуха Кристель донеслись слова, произносимые на совершенно незнакомом ей языке. В нерешительности она остановилась в открытых дверях, пытаясь хотя бы по выражению лиц понять, о чем столь увлеченно говорили ее чудаковатый дядя и высокий, с яркими глазами человек на инвалидной коляске, но в этот момент оба улыбнулись, и Кристель услышала совершенно дикий текст, исполненный на манер детских песенок, не имеющих конца:

Кенгуру на свете жил, Пилкой для ногтей пришел
Он карман на брюхе Просто так, от скуки,
Просто так, от скуки... Пели оба, но если у Хульдрайха лицо было нежным и трогательным, то у человека в коляске – тоскливым и озлобленным.

– Я помню, как меня научил этой песне отец, это было в середине войны, – осторожно улыбаясь, произнес Хульдрайх.

– А мы пели ее в дозоре, в сорок третьем, под Обоянью, – жестко оборвал его старик, и голос у него дрогнул – так, что Кристель сочла за лучшее вмешаться:

– Рада вас видеть, господин Бекман! Я – Кристель Хелькопф, директор, и хотела бы обсудить с вами некоторые подробности нашего дальнейшего сотрудничества.

В тот день ей пришлось сделать еще уйму дел: встретиться с представителем городского совета, отправить в зоопарк на экскурсию группу самостоятельно передвигавшихся детей, заказать детали для колясок и не раз обойти всех, терпеливо выслушивая благодарности и жалобы. Ближе к вечеру неожиданно позвонил Карлхайнц:

– Крис, ла помм чин,⁹ мне придется задержаться здесь, в Биллбруке, старик что-то совсем расчувствовался и... Словом, все расскажу по приезду, послезавтра, если, конечно, наша гипертрофированная сентиментальность не сыграет со мной еще какой-нибудь штуки. А вообще-то, я хочу, чтобы и ты оказалась сейчас здесь, на безутешных северных улицах, где весна еще только грезится. – Несмотря на склонность к тевтонскому высокомерию, Карлхайнц любил говорить красиво, к тому же его мать была довольно известным лингвистом. – Но больше всего я хочу твоих медовых губ. Пока.

От последних слов в груди у Кристель сладко заныло, и она не стала раздумывать над тем, отчего это мог вдруг расчувствоваться отец Карлхайнца, образованный нацист с печальным лицом аристократа.

* * *

Садясь в машину, где ждал ее Хульдрайх, так и не позаботившийся о приобретении собственного автомобиля – в глубине души Кристель подозревала, что он вообще не умеет водить, хотя прямо спросить об этом все-таки не решалась, – она услышала верещание радиотелефона, и высокий надменный голос матери попросил ее сейчас же заехать к ней на Фоейербахштрассе. По опыту зная, что вся срочность материнских требований сводится, как правило, к совершенной ерунде, Кристель обменялась понимающими улыбками с дядей, тоже не жаловавшим коробку на Фойербахштрассе, весь внешний вид которой явно свидетельствовал о пристрастии к Альвару Аалто¹⁰, но все-таки поехала на окраину, туда, где в нескольких сотнях метров протекал один из многочисленных, звонких и веселых притоков Неккара. Последнее вполне мирило Кристель с дикой, на ее взгляд, обстановкой материнского дома.

Адельхайд, родившаяся в год начала войны с русскими, сполна прошла все увлечения и метания ее поколения – от голодного отрочества до бутылок с зажигательной смесью во дворах Сорбонны вкупе с плодами сексуальной революции. До сих пор ее жилище представляло собой странную смесь бургерского дома, куда стаскивалось все, что так или иначе имело на себе печать недоступной в детстве роскоши, и молодежной коммуны шестидесятых – с постерами на стенах и пластинками двадцатилетней давности. Маленькой Кристель нравился этот хаос, но, повзрослев и, особенно, став человеком, от которого зависели здоровье и благополучие сорока с лишним беспомощных людей, она начала испытывать к подобному беспорядку глухое раздражение и была счастлива, когда смогла снова и окончательно перебраться в старинный

⁹ Райское яблочко – (фр.).

¹⁰ Выдающийся финский архитектор второй половины XX в.

дом на Хайгетштрассе, где родилась и жила до тех пор, пока мать с отцом не разошлись и Адельхайд не купила себе свою вожденную коробку.

Мать встретила их, как обычно, в линялых джинсах и спортивной рубашке, открывавшей ее по-молодому плоский живот. Тяжелые, слегка рыжеватые волосы пышной гривой ложились на прямые узкие плечи. Все это отчаянно не вязалось с надменным, до сих пор очень красивым, истинно древнегерманским лицом какой-нибудь героини «Нибелунгов».

– Привет, ма, – улыбнулась Кристель, по обыкновению восхищаясь, раздражаясь и удивляясь одновременно, и потянулась поцеловать ненапудренную щеку.

– Тише! Разве ты не видишь!? Она спит! Только тут Кристель увидела на руках у матери крошечного спящего щенка – черного, как смоль, фильда¹¹. Этого еще не хватало! Кристель любила собак, но отвлеченно, лишь признавая их благородную красоту и удивительное разнообразие. Порой они с Карлхайнцем ездили на престижные выставки, а однажды даже купили написанную маслом картину, где представитель национальной породы стоял в высокой стойке на прихваченном осенью лугу. Но собака дома?! Кристель устало села в белое кожаное кресло – мода семьдесят первого года.

– И что же случилось, что за срочная необходимость приехать?

– Как, разве тебе не интересно посмотреть на эту прелесть? – Атласные брови матери изумленно поползли вверх. – Это редкий экземпляр, ее прабабушка...

– Ах, мама, я счастлива, что ты можешь позволить себе так свободно распоряжаться своей жизнью, но я... – тут взгляд Кристель упал на дядю, который ласково и осторожно гладил черный комочек и робко улыбался.

– Как Полкан, да? Помнишь?

Адельхайд нахмурилась.

– Зачем тебе это, не понимаю. Я всю жизнь старалась избавиться от этого, хотя мои впечатления куда меньше твоих. Ты просто мазохист, Райхи.

Хульдрайх опустил глаза, но руки не убрал.

– Хорошо, я вижу, вам мое приобретение не по душе. Тогда пойдемте выпьем кофе. Энрике прислал мне какой-то новый сорт, прямо из Колумбии. Кстати, он собирается появиться, и вам придется взять Гренни, ты же понимаешь, – мать откровенно и томно выгнула плечи, и Кристель поспешила отказаться от предложения, представив себе, что за чашкой кофе Адельхайд в своей достаточно циничной манере пустится в рассказы о последнем любовнике. Разумеется, она понимала, что для поколения матери, когда-то сбросившего с себя оковы ханжества и пуританства, секс был фетишем, божеством, которое требовало все новых и новых жертв. Но для Кристель секс был уже не тираном, а, скорее, приятелем, с которым можно было дружить, а можно и лукавить, даже заключать кое-какие договоры, поэтому то значение, которое мать придавала абсолютному раскрепощению, казалось ей странным и преувеличенным. Однажды она с трудом поверила своим ушам, когда Адельхайд поинтересовалась у Карлхайнца, не намерен ли он на пару недель уступить Кристель своему приятелю, автогонщику, очень понравившемуся верной принципам сексуальной революции владелице шести процентов акций пивного концерна «Швабиенброу»...

Хульдрайх оторвался от шелковой шерсти, обнял сестру и вышел с племянницей в уже сгустившуюся темноту.

Всю дорогу Кристель не проронила ни слова, радуясь тому, что все-таки есть на свете люди, с которыми можно молчать. Ведя машину по знакомой дороге, она позволила себе привести в порядок мысли и чувства, одолевавшие ее в последние дни. Другой возможности заняться этим у нее не было: она вставала в пять, выпивала чашку крепчайшего чая, чтобы окончательно проснуться, и мчалась в «Роткепхен» – все проверить и подготовить к начинающемуся дню,

¹¹ Фильд-спаниель, порода охотничьих собак.

к восьми возвращалась домой, давая себе поблажку в виде еще полутора часов сна, потом – легкий завтрак, работа до пяти, бассейн или теннис, неизбежные домашние хлопоты и выкроенная благодаря строгому распорядку пара часов, которые можно было полностью посвятить Карлхайнцу. О, безбрежный диван, и шорох рвущихся в окно веток, и тяжелое тело, становящееся в последний момент таким легким... С появлением Карлхайнца ее жизнь очень изменилась – не внешне, скорее внутренне, но Кристель до сих пор не могла окончательно разобраться в этой перемене.

Несмотря на развод родителей, она выросла счастливой девочкой, свято верящей в то, что тепло семейного гнезда неиссякаемо, что люди всегда должны получать от работы и удовольствия, и доход, и даже в то, что Германия – самая прекрасная на свете страна. Остальные взгляды с возрастом менялись, но эти три кита были незыблемы. Правда, лет в десять она открыла для себя удивительный факт, что существуют еще одни немцы, которые живут на востоке, которых жаль и которым бабушка, грустно вздыхая, но стараясь выглядеть бодро, иногда отправляла посылки с отнюдь не подарочным содержимым. В старших классах гимназии велось немало разговоров об угнетенных и несчастных братьях. Постепенно Кристель свыклась с этой мыслью, начала относиться к ости не с удивлением или пренебрежением, а с жалостью и даже готова была пригласить кого-нибудь из них к себе погостить – но мать была против, и вопрос постепенно сам собой сошел на «нет».

Первый возлюбленный Кристель, в семнадцать лет казавшийся и ей, и себе самому очень прогрессивным и левым, в перерыве между мальчишескими жадными ласками мог с жаром рассуждать о воссоединении великой Германии и чувстве национальной вины. Но Кристель не хотела чувствовать себя виноватой. Она, смотревшая на мир веселыми и очень земными глазами, – темная, горячая алеманская порода отца победила саксонскую синеву матери – воспринимала эти рассуждения отвлеченно, они не задевали ни ее ума, ни ее сердца.

В середине восьмидесятых, когда в Советском Союзе началось какое-то брожение, заволновались и в Восточной Германии. В Академию, где училась Кристель, стали наезжать делегации, члены которых смотрели на все с презрительной, но в то же время жадной ухмылкой. Однажды после официального приема она познакомилась с милым молодым человеком, хотя и говорившим на каком-то адском прусском диалекте, но глядевшим на нее с явным интересом. Кристель было не просто любопытно, восточный немец действительно понравился ей своей неподчеркнутой, но яркой мужественностью, и она повела его в греческий ресторан, втайне гордясь собственной смелостью и презрением к предрассудкам: ей и в голову не пришло бы отправиться в подобное заведение с кем-то из своих здешних поклонников, будь он так безвкусно одет.

В ресторане Отто вел себя вполне пристойно, разве что не вытирал губ, прежде чем поднести к ним бокал, и возмутился чаевыми оберу¹². Потом они долго бродили по городу, заходя в локалы¹³ и пробуя вина прошлого сезона, которые так дешевы весной. Мысли Кристель незаметно для нее самой раздваивались: все в этом человеке было таким же чужим, как и его отрывистый, лающий выговор, но она не могла не восхищаться его выдержкой и отсутствием смущения, которое непременно испытал бы любой ее однокурсник, окажись он в чужой стране, в дурном костюме, без денег и рядом с понравившейся девушкой. Это восхищение потихоньку начинало перерастать в нечто большее, чему Кристель, не будучи ханжой, и не думала сопротивляться. К тому же, его руки, изредка касаясь ее, становились все горячее... Через несколько часов этого странного гуляния, Кристель улыбнулась и направилась к дому. Разумеется, было интересней позвать его не в эту материнскую коробку, а в настоящий немецкий дом, но там у

¹² Устаревшее южное обращение к официанту.

¹³ Локаль – так в Германии называют небольшие недорогие кафе.

дяди гостил какой-то его коллега, и потому пришлось ограничиться претензиями начала семидесятых.

Все еще улыбаясь, она зажгла свет и показала Отто ванную, откуда он подозрительно быстро вышел, затем сама встала под душ и, не одеваясь, прошла в спальню. «С братьями по крови здесь, наверное, еще никто не спал», – усмехнулась она про себя, зная постельную неприязнь своей матери к соотечественникам, и подошла к уже раздевшемуся и дрожавшему как в лихорадке юноше.

– Милый, – скорее ободряюще, чем призывно, произнесла Кристель и протянула ему упаковку с парой презервативов с запахом не то камелии, не то чего-то еще более экзотического. Но, к ее удивлению, Отто и не подумал взять их, а, с искаженным лицом, резко повалил ее на кровать, пытаясь овладеть ею мгновенно и грубо. Еще не понимая, что это не игра, Кристель покорно опала в его руках, успев, правда, плотно сомкнуть ноги. Но с жаждущим, хорошо тренированным телом бороться было трудно. Прижимая ее к постели железными плечами, он стал руками раздвигать ее ноги. Еще несколько секунд Кристель находилась под властью этого почти красивого в своей животной силе порыва, но, когда по ее бедру скользнула уже чуть увлажнившаяся плоть, она содрогнулась – он покушался на ее независимость, на ее право самой и только самой распоряжаться своим телом! И Кристель сознательно, расчетливо укусила гладко выбритый подбородок, не дававший ей поднять с подушки голову.

– А-а-а!

На какое-то мгновение в комнате повисла тишина, в которой взорвался исполненный злости и отчаяния голос:

– Зажравшаяся нацистская сука! Бережешься?! Убивали, грабили, насиловали сколько хотели, а теперь вы чистенькие! Теперь вы жрете в ресторанах каждый день и смеетесь! Думаешь, я не видел, как ты на меня смотрела?! Ненавижу! Ненавижу тебя, твое выхоленное тело, твои вонючие деньги, вас всех! О, я сразу тебя приметил и подумал: вот она, типичная западная тварь, которой все надоело, сейчас она будет передо мной выпендриваться, и я ее трахну так, чтобы наелась по уши, чтобы захлебнулась...

Кристель с ужасом поняла, что у юноши начинается истерика. Собравшись с силами, она рывком подняла его с кровати.

– Одевайся сейчас же и вытри сопли. – Она старалась говорить одновременно и мягко, и твердо, но Отто уже скорчился на смятых простынях, и было видно, что его широкие плечи трясутся.

– Вы, вы все виноваты, – с трудом разбирала его бормотание Кристель, – вы, которых все ненавидят, живете, как люди, а мы... А они, они еще хуже... Ты, сытая богатая девка, и понятия не имеешь, как... что они там едят!

– Да кто они? Успокойся ты, наконец?! – не выдержав, подняла голос Кристель.

– Мы и они... русские.

– При чем здесь русские, опомнись!

– Это вы и они сделали из нас скотов... – В голове у юноши явно мутилось.

– Ну, вот что. Полицию я, конечно, вызывать не стану, хотя и надо бы, а ты немедленно возьмешь себя в руки, уедешь отсюда и... – она с трудом сдерживалась, – и никому никогда не расскажешь ни слова о своей... глупости. Да и о моей тоже. – И Кристель бросила на кровать его мешковатый костюм.

Потом усилием воли она заставила себя забыть это «приключение», но, несмотря на здоровое и радостное ощущение жизни, ей свойственное, в душе у девушки все же поселилось какое-то смутное, горькое чувство. Это была и обида, и недоумение, и вина, и тревога, и еще что-то, о чем Кристель не разрешала себе думать, потому что размышления эти приводили ее к теме, о которой она не имела да и не хотела иметь никакого представления – о русских. Чтобы освободиться от этих ненужных мыслей и чувств, она с головой погрузилась в учебу.

Именно тогда Кристель Хелькопф, прежде не слишком усердная студентка Социальной Академии, неожиданно, поражая и преподавателей, и однокурсников, вырвалась в первые ряды и через два триместра была отправлена на стажировку в Штаты.

Три месяца в Америке притушили это сосущее, непонятное чувство. Кристель, со свойственной ей энергией, за это время объездила едва ли не четверть страны, удачно сочетая в выборе знакомств необходимость и интерес. Но когда в Вашингтоне ей предложили встретиться с русскими, уже начинавшими понемногу появляться в Европе и Штатах, ее сердце отчего-то дрогнуло. Они оказались громкоголосыми, не очень хорошо воспитанными и, на удивление, достаточно богатыми. А потом Кристель, с головой ушедшей в работу над своим проектом, стало некогда предаваться отвлеченным размышлениям. Домой она вернулась окрыленной новыми надеждами и идеями.

Родина встретила ее волнениями в умах и на улицах. Все толковали о необходимости воссоединения Германии и возлагали на это объединение какие-то фантастические надежды. Кристель более всего сейчас хотела работать, и все эти брожения только мешали ей, сбивая с толку. Однако в результате постоянных и неизбежных столкновений везде и всюду со всей этой вакханалией через пару месяцев после возвращения она вдруг ощутила себя совершенно разбитой.

Не встретить она тогда Карлхайнца, неизвестно, чем бы закончилась ее депрессия.

В нем были убежденность и разумность – то, чего ей мучительно не хватало после несчастной истории с не вполне нормальным, как она теперь понимала, ости. Как-то во время приема по случаю открытия новой подземной улицы неподалеку от главного здания дирекции «Боша» они с Карлхайнцем уединились в нише, что выглядело почти неприлично, болтали о своем, а потом долго ездили по улицам уютной столицы Баден-Вюртемберга, пока Карлхайнц не предложил прогуляться по знаменитой эспланаде у оперного театра, где другие не рисковали показываться после десяти-одиннадцати вечера. Поймав вопрошающий взгляд Кристель, Карлхайнц не удивился и не улыбнулся, а просто крепко сжал ее смуглую, как у большинства южанок, руку.

– Под лепет фонтанов обычно очень хорошо говорится, – заметил он, углубляясь в манящую, тревожную темноту и переплетая ее пальцы со своими. Навстречу им брели похожие на яркие клумбы панки, мрачно и вызывающе поглядывавшие юные наци, старые и молодые хиппи, дерзко звучали в сумерках золотые колокольцы растаманов¹⁴. Но Кристель шла, словно отделенная ото всех уверенным объятием Карлхайнца. Осенняя прятная ночь звенела в ушах, обволакивала теплом, поднимавшимся от полуобнаженной земли, и она ощущала свои груди гроздьями спелых рыжеватого-атласных ягод, что в изобилии отягощали кусты...

Чем дальше они уходили вглубь, к призрачно поблескивавшим громадам Оранжерей, тем сильнее начинал витать в воздухе приторный запах вянувшей травы, смешанный с едва уловимым ароматом нагретой за день воды в фонтанах, и эти запахи пьянили сильнее, чем дорогие духи... А наутро, в той же самой спальне, где рыдал несчастный ости, Кристель, прижавшись к ставшей за ночь жесткой щеке Карлхайнца, сама того не желая, путано и горячо пыталась объяснить ему, чем именно мешает ей существование там, на востоке, еще одних немцев.

Серо-стальные глаза Карлхайнца сузились. Он сел на постели, одним движением подняв свое гладко-мраморное мускулистое тело.

– А русские тебе не мешают? – спросил он. – А какие-нибудь вьетконговцы, нет? – Он уже стоял посреди комнаты, его густые золотые волосы косо падали на высокий лоб, и Кристель на мгновение показалось, что перед нею стоит не залитый медовыми полосами закатного света ее современник и возлюбленный, а умывшийся кровью Зигфрид. – И это говоришь ты, немка!?

¹⁴ Молодежная проамериканская секта.

Разве не они торжествовали победу? Разве не в их руках было все? Или это они, окруженные всей враждебной Европой, жили в развалинах и жрали отбросы с помоек? Они, песчинка за песчинкой, восстанавливали страну в полной экономической блокаде? – Голос Карлхайнца наливался злостью. – Это их народ разрубили по живому, не считаясь ни с традициями, ни с семьями? И теперь ты, не имеющая никакого отношения к нацизму и войне, должна угодливо заглядывать в их свиные рожи и просить прощения?! Только и слышно со всех сторон: «Вы нам должны! Вы обязаны! Почему вы не хотите нам помочь? Мы тоже хотим жить, как вы!» А они знают, что это такое, когда цвет нации вместо того, чтобы заниматься своим делом, кладет кирпичи и роет канавы?! – Карлхайнц порывисто отвернулся к окну. – Когда мой отец загремел на фронт, он потом еще семь лет не мог и подумать о науке... Мы все искупили. Так искупили и так покаялись, как они в их чудовищном атеизме и представить себе не могут! И я не допущу, чтобы ты, – высокая фигура качнулась в сторону Кристель, – настоящая, нежная, умная, мучилась теперь от нелепых требований и желаний этих... ничтожеств. Иди сюда.

С того дня, лелеемое Карлхайнцем, в ней стало укрепляться новое осознание себя немкой – частью нации, всегда так или иначе противопоставлявшей себя остальной Европе, кровавыми ли преступлениями, колоссальной ли способностью к работе или недостижимыми вершинами духа. И Кристель это нравилось.

Вместе с Карлхайнцем и его друзьями она участвовала в возрождении старинных немецких обычаев, праздновала трогательные праздники, вроде выборов Травяного короля и дискутировала на тему соединения двух Германий, чувствуя себя при этом солью нации.

Вскоре Карлхайнц познакомил Кристель со своими родителями, жившими в престижном районе Гамбурга: молодой, выглядевшей едва ли не ровесницей сыну матерью и высоким, подвоенному красивым стариком-отцом.

– Сколько же ему лет? – не выдержала Кристель, очарованная старомодной печальной изысканностью будущего свекра.

– Почти семьдесят. Он женился очень поздно. Мать была его студенткой в Букстехуде. Отец не так уж мягок, как кажется на первый взгляд. За его плечами... Впрочем, нас с тобой это не касается, – Карлхайнц перевернулся на спину, отдавая свое тело рукам Кристель.

Это было новым и притягательным: он умел быть безвольно-пассивным, почти мальчиком, и внезапно менять пасторальную негу на жесткую властность завоевателя. Он любил совершенство не только в словах, но и в поступках, в работе, в одежде. Он умел идти наперекор общепринятому или, по крайней мере, держаться в стороне от него.

Он любил ее. Когда они шли вдвоем, являя собой союз юга и севера, подвижной смуглой прелести приальпийских долин и тяжеловесной суровой красоты просторов и волн бухты Хельголанд, многие оборачивались вслед. Карлхайнц чуть удивленно скидывал бровь, а Кристель молча улыбалась, зная, что с ним она может чувствовать себя завершенной и гармоничной. Чувство внутреннего равновесия было, пожалуй, единственным, чего ей не хватало последние полтора года. Карлхайнц дал ей это чувство, и сила жизни, таившаяся в ней до поры, закипела, преображая и тело, и душу.

* * *

Тем временем уже замелькали пока еще не тенистые, а только волновавшиеся тонким весенним кружевом старые центральные улочки, и через минуту «форд» остановился рядом с трехэтажным домом, казавшимся высоким благодаря не размерам, а уходившей в небо узости оштукатуренных стен. Со стороны маленького, почти экзотического сада дом имел всего два этажа – земля за ним резко уходила вверх. Пивная кружка призывно золотилась в последних заходящих лучах. Каждый раз, когда Кристель приближалась к дому, ее сердце омывала теплая волна благодарности за то, что на свете существует этот оплот неразрывной связи поколе-

ний. Открывая ключом массивную дубовую дверь, сверкавшую никелем современных домовых устройств, она привычно прижалась щекой к нагретой за день шероховатой стене. «Привет! – мысленно сказала она старому дому. – День был замечательный, верно?» И дом радостно скрипнул в ответ тяжелой дверью.

Наскоро поужинав на первом этаже, где еще недавно сверкали ореховые стойки и круглились бочки всех размеров, а теперь в ожидании перемен было некоторое запустение, Кристель и Хульдрайх поднялись наверх, в бывшую детскую, где выросли и ее мать, и ее бабушка. Комната по сей день оставалась в том виде, в каком оставил ее дядя, когда отдавал племяннице дом: не то кабинет средневекового ученого, не то музей быта тридцатых годов.

– Думаю, что здесь нам просто места не хватит, давай отнесем все в гостиную и положим прямо на пол.

Гостиная находилась этажом ниже, огромные окна, почти от пола до потолка, выходили в сад, так что, открыв створки, можно было шагнуть прямо в нестриженую, лохматую траву. Просторная комната казалась еще больше благодаря минимуму мебели: необъятный диван и кресла лиловой кожи, бледно-сиреневый ковер с ворсом, не уступавшим траве за окнами, и книжный шкаф, занимавший всю дальнюю стену, наполненный сувенирами, привезенными четырьмя поколениями Хайгетов со всех концов света.

Хульдрайх несколько раз поднимался по белой винтовой лестнице, соединявшей второй и третий этажи, и сносил вниз большие коробки. Спустившись с последней, он с торжеством оглядел гостиную и, виновато усмехнувшись, сказал:

– Ну вот. Только, боюсь, дело затянется, и тебе придется отпаивать меня сердечными каплями.

– Но ведь я так просила тебя об этом. – Кристель еще с отрочества хотелось покопаться в семейных архивах, но последнее время бабушка была уже очень плоха, Адельхайд не было до этих бумаг никакого дела, а дядя почему-то все оттягивал и оттягивал... Последние два года Кристель уже не была так уверена, что стоит ворошить прошлое – когда нет уверенности в правильности настоящего. Но любовь к Карлхайнцу все поставила на свои места, мир вновь заиграл чистыми красками, и желание побольше узнать о своих корнях заговорило в ней с удвоенной силой. Прежде чем создать семью, необходимо связать воедино все ниточки прошлого, ведь они неизбежно несут в себе зачатки будущего.

...Около трех часов ночи все горизонтальные поверхности гостиной оказались заставленными и заваленными самыми разнообразными предметами, не представлявшими никакого интереса для посторонних, но для Кристель накрепко привязывавшими ее к семье и стране. Здесь были полуистлевшие корзиночки для дамского рукоделия, разбитые чашки кайзеровских сервизов, офицерские книжки времен первой мировой войны, плакаты с красноармейцем в виде подыхающего дракона, которого разил голубым искрящимся мечом пепельнокудрый немецкий солдат, розовые и голубые карточки на хлеб, первые джазовые пластинки, коробочки в виде сердечек с уже неизвестно чьими молочными зубами... Стоило Кристель взять в руки какую-нибудь вещицу, как Хульдрайх, словно старый волшебник, начинал рассказывать о ней долгую повесть.

– Знаешь, нам так не хватит времени и до завтрашней ночи, не то что до утра, – не выдержала, наконец, Кристель – ее глаза уже слипались. Но, взглянув на погрузневшее вдруг лицо дяди, весело добавила: – Давай будем устраивать такие вечера каждую неделю, ладно? Понемногу, зато подробно и со вкусом.

– Договорились, – согласился Хульдрайх, уже начинавший опасаться, что отбил у племянницы всякую охоту к погружению в прошлое. Он стал собирать вещи, осторожно перекладывая коробки и свертки, как вдруг один черный ветхий пакет лопнул и на ковер скользнуло несколько бледных маленьких фотографий. Кристель бросилась собирать, а дядя неожиданно поднялся с колен и тяжело сел в объятия лилового кресла.

Перед глазами у Кристель замелькали черные мундиры, стеки и сверкавший даже на старых фото глянец сапог, а потом снимки деда, почему-то в профиль и фас.

– Что это? – еще запрещая себе догадываться, подняла голову Кристель.

– Все, что нам отдали после его расстрела в сорок седьмом.

– Но разве... Разве дедушка умер не... Разве не от почечной дистрофии, как говорила...

– Нет. Он был осужден судом союзников как начальник лагеря для англо-французских интернированных офицеров. – Губы Хульдрайха дрогнули. – Целый год мы надеялись. Отец... Ведь он не принадлежал ни к шутц-штафелю, ни к тайной полиции, он просто выполнял приказ, и я помню, каким вымотанным он возвращался под утро, как летом сорок пятого кричал по ночам и за полгода стал седым. А ведь ему было всего тридцать лет. Его расстреляли в день рождения Адели, когда ей исполнилось шесть. – «Господи милостивый! – вздрогнула Кристель. – Вот почему мама никогда не празднует свои дни рождения и не любит, когда ей о них напоминают!» – Напоследок ему разрешили свидание, и мама взяла с собой меня. Она, наверное, понимала, что это конец, но вокруг все цело, и я так радовался... Мы ехали на американском джипе вдоль Неккара, и запах заброшенных во время войны виноградников бил в ноздри... Отец был в старом довоенном костюме, а я был уже здоровый одиннадцатилетний парень, и он поднял меня, и видно было, что ему трудно, а ведь еще год назад... А-а-а! – Хульдрайх резко взмахнул рукой, словно перечеркивая все только что сказанное. – И он сказал мне тогда: «Что бы потом тебе ни говорили, мой мальчик, помни одно: я не виноват, но мы все – виноваты».

Кристель не знала, что ответить на этот полный боли рассказ. Ее руки все еще перебирали тонкую пачку тусклых, в каких-то пятнах, снимков, когда с последнего на нее глянули испуганные, как у загнанной в угол собаки, светлые девчоночьи глаза под нелепо и жалко завитыми на широком лбу кудряшками.

– Кто это? – боясь еще какого-нибудь открытия, еле слышно пробормотала она.

– Это Марихен, наша няня и горничная времен войны. Она была русская. Ее привезли сюда летом сорок второго...

* * *

В вагоне дышалось тяжело, несмотря на привычку интернируемых к резким запахам жилья, где в одном помещении живут вместе по пять-шесть человек, а за перегородкой стоит скотина. Ударяла в нос волна острого женского пота, смешанного с запахом подгнившей соломы и пропитанного машинным маслом разогретого дерева. Поначалу Маньке казалось, что в этой вонючей полутьме невозможно не то что повернуться, но даже свободно стоять, но через некоторое время все как-то угомонились, вернее, нашли себе более или менее удобную позу, чтобы уткнуть голову в колени и зареветь пустыми, необлегчающими слезами. Она пробралась в самый дальний и темный угол, где свернулась, как собачонка, калачиком, зная по своему небольшому, но верному опыту, что наутро все прошедшее кажется уже не таким страшным, и потому стараясь как-нибудь побыстрее заснуть. Поезд шел без остановок, за плотно закрытыми дверями не было видно, наступила ли избавительница-ночь, не говоря уже о том, куда идет состав, набитый до отказа русскими юношами и девушками.

Заткнув уши ладонями, чтобы не слышать то тут, то там бьющегося в сыром вагоне воя, Манька натянула на колени подол своего платица в красно-коричневую клетку и обняла сшитый за ночь перед отъездом холщовый мешок, коловший лицо черными и даже белыми сухарями. И через некоторое время шедший от мешка слабый запах дома и мерное постукивание колес о стыки рельсов сделали свое дело. Но то был не сон, а какие-то страшные провалы то в нехорошо известный всем овраг за деревней, где еще с мая клубились змеиные свадьбы, то в ледяной омут, каждый год забиравший кого-то из отчаянных ее сверстников. Потом в этот

полубред прокрался на мягких подушечках любимый Полкан, но не стал, как обычно, прыгать, норовя лизнуть в лицо, а сначала лег, безжизненно вытянув все четыре лапы и глядя на нее слезящимися человеческими глазами, а затем утробно завыл, и на голове его вдруг оказалась немецкая каска, а с клыков закапала тягучая, как слюна, кровь.

На ее вскрик никто в стонущем вагоне не обратил внимания. Только Валентина, почти осязая нашедшая младшую подружку в непроглядной тьме, ощутимо тряхнула ее за плечо.

– Хватит выть-то. И без тебя тошно. Лучше прижмись-ка, вон щелочка в стене, да посмотри, может, уже утро?

Перед глазами мало что соображавшей девочки проносилась лишь безликая зелень кустов, подернутых белесоватым туманом.

– Видать, и вправду утро. Валь... – Но девушка сидела, привалив растрепанную голову к неструганым доскам и, казалось, не слышала уже ничего. – Валь, а как же это... оправиться-то?

– А ты, милая, иди да постучи вон туда, где фриц стоит, он тебе горшок-то и подаст, – ответил ей из темноты злой и насмешливый голос. Манька покорно поднялась и стала протискиваться через скорченные тела, мешки и чемоданы.

– Ты что, девка, совсем уже дура?! – Жесткая рука Валентины схватила ее за подол. – Молчи уж лучше, терпи. А то и вправду придут сюда да и ссильничают. Тут нас, вон, бери – не хочу.

Манька покорно пробралась обратно в свой угол и прикрыла глаза. Под тяжелыми от слез веками стало раздваиваться и плыть испуганное лицо отца, но смысл последних сказанных им в напутствие слов ускользал от парализованного страхом сознания. Тогда она, до полуобморочного состояния боясь двух высоких немецких офицеров, стоявших рядом, плохо понимала, о чем говорит суровый и в то же время дрожавший голос отца, а теперь с отчаянием сознавала, что ей не на кого опереться в грядущих несчастьях, к которым, все больше набирая скорость, уже почти сутки везет их громяющий состав.

Вагон дернуло от резкой остановки, и глаза девушек ослепил яркий свет жаркого полдня.

– Выходить! Шнель, быстро, пи-пи, ка-ка, вы иметь три минута! – Солдат говорил и смотрел совершенно равнодушно, без злобы или любопытства, как смотрят на не представляющий интереса пейзаж или ненужный, надоевший предмет. – Выходить! – еще раз прикрикнул он и, видя, что девушки застыли от слепящего света и стыда, поднял автомат и дал короткую очередь поверх голов. Толкаясь и торопясь, они стали спрыгивать на песчаный откос и вновь застыли, увидев, что рядом, закрываясь кто как может, стояли юноши из соседнего вагона.

Маньку, безуспешно пытавшуюся найти хоть какой-нибудь кустик и так и не выдавившую из себя ни капли, немецкий охранник закидывал в вагон уже на ходу. Но через несколько подобных остановок стыд пропал. Девушки стали есть взятые из дому жалкие припасы, разговаривать и даже петь. Манька, не чувствовавшая голода, безучастно сосала сухари, которые Валентина всовывала в ее холодную, несмотря на липкую духоту, руку. Снова и снова бился ей в уши гул вокзальной толпы, и в нем терялись, ускользали отцовские слова. В эти минуты отчаянной пустоты и беспомощности девочка была готова грызть провонявшие стены вагона зубами, царапать их маленькими грязными ногтями, лишь бы выбраться отсюда, а там, пусть пешком и ползком, она уж сумеет добраться до их незаметной, петляющей среди лесов речушки... И она снова начинала плакать, но уже не тем бессмысленным, животным воем, а скупыми и горькими слезами за день повзрослевшей души.

К концу третьих суток поезд остановился на сером пустынном вокзале, где две башни невиданной высоты и красоты подпирали сгущавшиеся облака. Разинув рот, Манька смотрела на них до тех пор, пока все тот же равнодушный солдат не дернул с ее плеч холщовый мешок.

– А-а-а! – завизжала Манька, цепляясь не столько за мешок, сколько за последнее тепло дома и отцовских неловко-ласковых рук.

– Отдай, дура! – Валентина увесисто шлепнула девочку по затылку, и они потащились в хвосте колонны под своды каменных башен. Внутри было пусто, стояла все та же тишина, нарушаемая лишь пробежавшими солдатами с откормленными, глухо рычащими на толпу собаками.

Огромный зал, куда их привели, был выложен скользкой голубоватой плиткой от пола до потолка, и каждый уголок беспощадно освещался десятками мощных электрических ламп. По колонне прошел ропот удивленного восхищения: такого света они не видели даже по большим праздникам. Но на разговоры времени не было, всем было приказано раздеться, и на сверкающий пол полетела нехитрая старенькая одежда. Кто-то раздевался, розовея всем телом и мучительно сводя колени, кто-то – почти вызывающе; через пару минут зал был полон упругой и щедрой крестьянской плоти, до черноты загорелой на ступнях, кистях и шеях и молочно-белой на тяжелых грудях и бедрах. Манька с завистью смотрела на телесный избыток Валентины, как видно, ничуть не стеснявшейся своей наготы, а сама все норовила прикрыть покрывшиеся гусиной кожей набухавшие грудки.

Душ принимали по трое – под ленивым, но не упускавшим ни одного их движения взглядом розовощекой и розовогубой девицы, рюмочкой перетянутой в талии широким офицерским ремнем.

– Мыть все, русские свиньи, – цедила она сквозь зубы. – Все. Везде. – И не раз ее маленький стек оставлял багровый след на ягодицах.

Голых, скользивших на кафельном полу, их провели мимо раздевавшихся юношей в другую половину зала, где каждой выдали пластмассовую бирку с номером. Несмотря на неотпускающий стыд, Манька пришла в восторг: бирка была прозрачной, красной и округлой, как леденец. Тайком она даже сунула ее в рот и ощутила ожидаемую холодящую гладкость, за что мгновенно получила ощутимый удар по руке.

Но дальше началось еще более постыдное. Двое в белых, но покрытых ржавыми пятнами халатах, опрокидывали девушек на узкий цинковый стол и, пока первый, кладя локоть на грудь, рукой разводил ноги, второй в зеленых перчатках быстро раскрывал промежность и намазывал ее едкой жидкостью. Маньке показалось, будто ее изнутри полоснули ножом.

– Ничего, девки, зато после этого фрицевский... заячьей лапкой покажется! – заглушая стыд, крикнула какая-то разбитная девица и, несмотря на дикость этой вспорхнувшей словно испуганная птица фразы, на секунду стало легче.

Потом всем выдали одежду, явно русскую, но чужую, чистую и пропахшую карболкой. Манька вдруг в голос зарыдала о потере своего любимого клетчатого платья. Без него, без мешка и без утраченного родительского напутствия ей почудилось, будто она уже и не Марья Федоровна Костылева, четырнадцати лет от роду, а какая-то тряпичная кукла, и что ее сейчас поволокут куда-нибудь по блестящему полу – точно так же, как тащат груды снятой девушками одежды.

Но вместо этого их снова вывели на перрон, где светляками вспыхивали огни и урчали паровозы. На этот раз никакого разделения не было. Парни, первыми запрыгнувшие в вагоны, протягивали руки девушкам, а те проходили внутрь и, пораженные, создавая толчею и пробки, останавливались: старый пульмановский вагон второго класса сиял всем своим потертым малиновым бархатом сидений, погнутыми медными решетками вокруг лампочек, посеченными временем шелковыми шнурами багажных сеток. И пусть в каждое отделение набивалось не по четыре, а по десять, двенадцать, пятнадцать человек – все равно от роскоши захватывало дух. Они тут же приободрились, слышались шутки, кое-кто уже доставал чудом сохраненные папиросы, а некоторые из девушек садились на колени к знакомым парням. Манька, притиснутая в угол Валентиной, устроившей свой мощный зад на коленях веснушчатого паренька в сваливавшейся на глаза кепке, была даже довольна: нос ей щекотала атласная занавеска, пахнувшая чем-то незнакомым, но сладким, влажные после душа непокрытые волосы приятно холодили шею, а когда поезд тронулся и погас свет, она почти спокойно закрыла слипавшиеся глаза. Но

долгие семь часов с детских полуоткрытых губ все срывались и срывались слова, зовущие то отца, то Полкана, а худенькие пальцы непроизвольно сжимались в кулаки.

К полудню они были выстроены под гулкими сводами коричневой громады очередного вокзала, пересчитаны и отправлены в построенный несколько лет назад роскошный конноспортивный манеж, дававший любому жителю великого рейха возможность бесплатно заниматься конкурром и выездкой.

Колонну русских юношей и девушек встретил пьянящий и томный дух отцветавшей бузины.

* * *

Наутро Кристель проснулась невыспавшейся и долго пыталась стряхнуть с себя наваждение отвратительного сна, в котором ее обнимал отец Карлхайнца, обольстительно молодой, в какой-то пятнистой полевой форме, а руки его были горячими и липкими. Она приняла холодный душ, не вернувший ей, как обычно, ощущения пронзительного ликования тела, выпила несколько чашек чаю, просмотрела ворох на девять десятых ненужных проспектов, подкинутых за утро к манившей курьеров своей основательностью двери, прочитала первую газетную полосу, над которой сиял привычный лукавый оскал Тойфеля, и ушла наверх, но не в кабинет дяди, а в крошечную комнату напротив, долгое время служившую гардеробной бабушке, а потом переделанную самой Кристель в некое подобие классной комнаты.

В этом помещении, узком, как пенал, с единственным окном, выходящим на их тихую улицу, ей еще с гимназических времен всегда хорошо думалось. Устроившись на подоконнике и закулив сигарету, что позволялось нечасто и происходило благодаря скорее привычке, чем действительной необходимости, Кристель попробовала разобраться в своих ощущениях. Нет, она не испытывала стыда за управлявшего лагерем деда, поскольку знала, что таких, как он, были сотни, и все они или почти все понесли за это наказание; не было в ней и жалости, ибо слишком много в последнее время обрушили на их головы документальной хроники о том, что творилось в таких лагерях... Скорее, ее душила обида на несвоевременно открытую семейную тайну, тайну, которая отныне будет вновь и вновь растревать столь разумно уничтоженное Карлхайнцем чувство вины за свою нынешнюю счастливую и полноценную жизнь.

Одно дело рассуждать о заслуженности своей участи, будучи законной наследницей поколений честных коммерсантов, и совсем иное дело иметь за спиной деда – коменданта концентрационного лагеря. И сегодня вечером, когда вернется Карлхайнц, вместо того чтобы наслаждаться взрывающимся в ее объятиях золотым телом, ей придется рассказывать о таких малоприятных вещах. С человеком, которого она ощущала как неотъемлемую часть себя и гарантию гармонии в окружающем мире, за которого собиралась замуж, Кристель, следуя своей цельной и честной натуре, просто не могла не делиться всем.

И эта русская нянька! Судя по фотографии, совсем девочка. Каково же ей было тут, в чужой стране, с врагами, совсем одной, ничего не понимавшей, в постоянном страхе, что побьют, сошлют в лагерь, расстреляют? Кристель вспомнила, как в пятнадцать лет мать, со своей любовью ко всему новому, отправила ее в какой-то экспериментальный кампус на Боденское озеро, где в порядке опыта разрешалась полная сексуальная свобода, и как через пять дней она сбежала оттуда, устав доказывать свою телесную независимость. А ведь она была уже очень самостоятельной, решительной и обеспеченной девочкой. Интересно, жива ли эта Марихен? Если да, то, наверное, вместе со всеми проклинает их восставшую как феникс из пепла страну...

И все же долго предаваться рефлексии было не в характере Кристель. Она постарается и без Карлхайнца справиться с этим, более того, попробует придумать к его приезду что-

нибудь необычное. Можно, например, купить видеозаписи всех матчей с победой «Мотора»¹⁵ и посмотреть их вместе с ним, прерывая просмотр любовью на сиреновом ковре. Или сейчас же забронировать номер в Страсбурге и уехать туда на весь длинный весенний день. Или... Но после того как дребезжащий уже четверть века телефон в дядином кабинете был услышан, все ее планы рухнули: врач «Роткепхена» с искренним сожалением в голосе сообщила, что поступивший вчера господин Бекман скоропостижно скончался от сердечного приступа.

– Такой обаятельный старик, успел понравиться всем, включая Кноке. Я уже сделала все необходимые распоряжения. Но, видимо, надо позвонить еще и в Гвардейский Клуб – он, как ветеран...

– Скажите, на месте ли господин Хайгет?

– Да, но... – Врач почему-то замялась.

– В чем дело? – потребовала Кристель, не терпевшая подобных недомолвок на работе.

– Видите ли, вчера он проговорил со стариком весь день, они вспоминали...

– Я слышала.

– Так вот, господин Хайгет считает, что ему не следовало вызывать у Бекмана подобных воспоминаний... Словом, он считает себя виноватым в его смерти и не отвечает сейчас на звонки.

– Благодарю вас, фрау Инге. – Кристель почти со злостью бросила трубку. Бедный Хульдрайх! Нельзя воспринимать жизнь через призму вины! Тем более ему, уже расплатившемуся неизвестно за что потерей отца в одиннадцать лет.

Через двадцать минут она уже была в приюте и весь остаток дня потратила на воссоздание нарушенной смертью Бекмана и депрессией Хульдрайха обстановки внутренней гармонии, которая была так важна для обитателей «Роткепхена» и от которой зависели здоровье старших и определенный прогресс младших.

Карлхайнц приехал совсем поздно, когда Кристель уже отчаялась дожидаться его. И, против обыкновения, не привез с собой того мягкого аромата пронизанного любовью дома, который она всегда ощущала в нем после его возвращений из Гамбурга и которого ей самой так порой не хватало. На этот раз Карлхайнц выглядел взвинченным и уставшим. Устроившись полулежа на диване и раскинув длинные стройные ноги, он притянул к себе Кристель, но в этом жесте была, скорее, наконец-то обретенная умиротворенность, чем страсть.

– Что-нибудь с отцом? – спросила Кристель, медленно лаская его выхолонную руку.

– С ним все прекрасно. Но в честь семидесятилетия его, видите ли, решил пригласить Берлинский Университет... – Карлхайнц вдруг почувствовал, что сейчас испортит этим рассказом весь вечер и что давно бы пора отказаться от привычки делиться с Кристель переживаниями, касающимися, в общем, только его одного. Но, с другой стороны... Какой тогда смысл в их союзе? Девушку на неделю он без труда найдет не только у Нового Замка, но и у себя на работе. Он поморщился, крепко прижал к себе Кристель и без обиняков закончил: – Ну, разумеется, пошли воспоминания, все-таки возраст и обстановка, воссоединенные братья и тому подобная сентиментальщина, старик задержался на непредвиденные пару дней, мама в это время уехала в Испанию, а эмоции душат, льются через край... И тут появляюсь я. Не дав мне переодеться и сделать глоток коньяку, который он все-таки не забыл поставить на стол, отец этак виновато смотрит на меня и кладет руку мне на колено, как будто я недостаточно сообразительная горничная... – «Зачем ты так... об отце?» – хотела остановить его Кристель, но почувствовала, что рассказывать так Карлхайнцу легче, и он говорит в таком тоне потому, что не хочет перекладывать на нее даже часть того душевного волнения, которое испытал и испытывает сам. – И ведет меня в кабинет, опускает глаза, как на исповеди, и сообщает престелстную историю о том, что перед войной у него была невеста – Господи, да у кого при тогдаш-

¹⁵ Южногерманская футбольная команда.

ней пропаганде их не было?! – невинное существо, им соблазненное, чего он, уезжая на Восток, не имел права делать, и так далее, и тому подобное. Короче, из-за союзнических бомбежек наша Гретхен была вынуждена отправиться к родственникам куда-то на Эльбу, где ее перед самой капитуляцией изнасиловал русский лейтенант. Не вынеся этого позора и не дождавшись своего любимого Вальтера, девица повесилась.

– Пресвятая Дева! – невольно вырвалось у Кристель, которая уже поняла, что двух подобных историй за один вечер будет слишком много, и теперь она хотела только помочь возлюбленному. Но паясничанье Карлхайнца все-таки больно задевало ее. О мертвых нельзя говорить так... На секунду перед нею мелькнуло удивленно-обреченное лицо ее деда на тюремной фотографии.

– Но я пересказываю тебе в двух словах. Мы просидели у камина до полуночи, были и скупые мужские слезы, и уверения в вечной любви, и опасения, чтобы об этом никогда не узнала мама, которую он, разумеется, обожает, но это совсем иное чувство... А под конец он долго искал что-то в своем столе и извлек на свет полустертое и расплывшееся изображение этой невесты. Поскольку он с ним и тонул, и горел, и мерз, и жарился в дезинфекционной камере, от фотографии осталась лишь мутная картинка. Кроме того, я полагаю, он еще и основательно стер ее своими нежными прикосновениями, когда мама в очередной раз отправлялась за Пиренеи. Он попросил, чтобы я – сам он почему-то не хочет – на нашей аппаратуре сделал из туманных пятен художественно исполненное фото. Вот, посмотри, – и Карлхайнц полез в нагрудный карман, но Кристель, не желая больше омрачать горьким прошлым нежный свет этого апрельского вечера, потянула его руку к губам.

В эту ночь, растревоженные видениями сорокалетней давности, они, даже сами не желая того, пережили и первый стыд; и предрассветную ненасытность, когда за окнами уже властно пунцовеют еще робкие лучи и оба знают, что с рассветом наступит вечное расставание; и одиночество разбуженной женской природы, когда, закрыв глаза и сжав зубы, сначала с отвращением, а потом с мрачным сладострастием предаются заменяющим мужчине предметам; и последний всплеск последнего в жизни наслаждения, смешанного с ненавистью и смертной тоской, уже мутящей голубые глаза и делающей серой фарфоровую кожу...

– Теперь мы связаны с тобой еще крепче, – целуя под утро ввалившиеся и потемневшие от выступившей за ночь щетины щеки Карлхайнца, прошептала Кристель.

За окнами, выходящими в сад, затяжной дождь сшивал светлыми нитями темные тучи и темные травы.

* * *

Кристель решила пока не рассказывать Карлхайнцу ни о расстрелянном деду, ни о русской няньке, ибо видела, что, несмотря на отлично сыгранное равнодушие, подкрепленное антисоциалистическими убеждениями и уверенностью в личной избранности, ее возлюбленного все-таки очень задела история о трагической гибели отцовской невесты. Время потихоньку затягивало раны, и к этой теме не возвращались больше ни он, ни она.

В декабре они объявили о своей свадьбе. Адельхайд скривила губы, сказав, что Карлхайнц, безусловно, отличная партия, но, если уж он так откровенно показывает себя поборником высоких немецких традиций, ему следовало бы иметь побольше брутальности и цинизма. «Роткепхен» загудел, как растревоженный улей, и взял с Кристель торжественную клятву, что ее брак никак не отразится на общении с его обитателями. Отец отделался привычным крупным чеком, и только Хульдрайх угрюмо молчал.

– Именно такие люди, как твой жених, и мешают не формальному, а подлинному объединению, – как-то заметил он, видя презрительно сморщенный носик Кристель, когда она читала очередную язвительную статью о новоявленных соплеменниках в «Зюддойче-цайтунг». – Я

знаю, вы поставили во главу угла мелочи: их неграмотных шоферов, которые бьют дорогие, стоящие гораздо дороже всего, что они имеют, машины, их нелепые требования иметь пять автомобилей и трехэтажный дом на семью из трех человек, что, впрочем, сплошь и рядом бывает у нас, их, мягко говоря, странные притязания, не работая, получать не меньше, чем мы, а то и больше, поскольку они сторона потерпевшая, и тому подобное. Но ведь все это относится к материальной стороне, то есть, самой поверхностной и, прости меня, примитивной. А попытались ли вы заглянуть им в душу?

– В душе у них горит праведное возмущение, на деле скрывающее нежелание и неумение работать. Я знаю. Только вчера Карлхайнц рассказывал мне, что полгода назад они приняли на работу какого-то ости из-под Дрездена. Так вот, за эти полгода он даже не удосужился закончить ни одних курсов, хотя его квалификация находится, прямо скажем, на пещерном уровне. Это развращенные люди, дядя, и должно пройти еще много-много лет, прежде чем мы переплавим их сознание и вольем здоровую кровь... Если, конечно, до той поры они не переплавят наше... А Карлхайнц честен до конца, он никогда не ратовал за слом этой пресловутой стены.

Сидевшая рядом Адельхайд, с упоением кормившая размоченными бисквитами Гренни, казалось, не обращала никакого внимания на подобные препирательства, уже ставшие привычными во многих западных семьях. Но, когда Кристель открыла рот, чтобы произнести еще какое-нибудь доказательство своей правоты, она насмешливо улыбнулась:

– Зачем ты с ним споришь, Крис? После трех лет общения с русской он навсегда остался упрямым, как осел.

Хульдрайх вспыхнул.

– Ты забыла, как она умела уступать. И тебе в первую очередь.

Адельхайд поцеловала собаку в лоснящуюся агатовую мордочку.

– Еще бы! Ведь мама купила ее всего за шестьдесят марок.

Кристель поперхнулась, настолько поразило ее даже не само сказанное, а то, каким спокойным тоном это было произнесено.

– Мама! Это правда, дядя?!

– Правда.

К вечеру Кристель поняла, что ушедшая, казалось, навсегда, непонятная саднящая тоска снова выбралась наружу. Просидев с полчаса на заветном подоконнике и вслушиваясь в летнее лепетанье ночного городка, она вдруг решительно прыгнула и набрала телефон квартиры Хульдрайха в «Роткепхене».

– Вечер это или ночь, но, по-моему, очень добрые. Ты не спишь? Тогда скажи мне, где лежит фотография этой самой вашей Марихен?

– Зачем она тебе? Это единственное фото и... тебе все равно не понять.

– Предположим. Но лицо человека, которым владели за шестьдесят марок, все-таки, наверное, должно быть у нас перед глазами. Иначе очень трудно верить в наше превосходство. А не верить я не могу.

В ответ Кристель услышала странный лающий звук, и ей показалось, будто в трубке зашепестели начальные слова «Патера».

– Возьми. Средний светло-ореховый ящик. – И без дальнейших объяснений Хульдрайх повесил трубку.

На следующий же день она купила самую простую стеклянную рамку и долго раздумывала, куда же повесить не то улыбающееся, не то готовое расплакаться девчоночье лицо. Все возможные места казались или нелепостью или кощунством. Наконец, Кристель выбрала, на ее взгляд, самое подходящее – рядом с тщательно раскрашенной литографией дворянского, с пятью жемчужинами герба, принадлежавшего ее прабабушке, когда-то сменившей это нищее остзейское дворянство на благополучную жизнь жены баденского торговца пивом.

В летнем сумраке высокого потолка, в холле, где редко включали свет, фотография была почти не видна, во всяком случае, Карлхайнц ни о чем не спрашивал, но каждое утро и каждый вечер, открывая и закрывая протяжно-вздыхающую дверь, Кристель, собравшись с духом, заставляла себя поднимать повыше голову и смотреть в беспомощные и вместе с тем мудрые глаза.

Еще через неделю Карлхайнц заехал за нею в приют пораньше и предложил махнуть в Маульбронн, где чуть ли не в монастырских стенах открыли новый и, говорят, очень изысканный ресторан.

– Все-таки по натуре я явный извращенец, – сузив глаза, усмехнулся он, – и нахожу некое удовольствие просто есть и пить там, где лучшие умы достигали неслыханных высот. Поехали! От пресной пошлости, захлестнувшей нас с того момента, как упал последний разделяющий нацию кирпич, у меня теряется вкус к жизни.

Он умудрялся вести машину по переполненным вечерним автобанам, одной рукой обнимая Кристель, а другой держа радиотелефон, и только тогда, ощущая его горячее злое дыхание, она поняла, что Карлхайнц пьян, сильно пьян. На приборной панели лежал прямоугольный сверток из дорогой атласной бумаги.

– Это сюрприз? – радостно поинтересовалась Кристель, любившая всевозможные неожиданности.

– Сюрприз.

Ресторан, к разочарованию Карлхайнца и радости Кристель, оказался не в самом монастыре, а напротив его, в бывших мельничных складах. Карлхайнц бокал за бокалом пил верзен, но только бледнел и, прищурившись, рассматривал на стенах прекрасные гравюры с изображением знаменитостей, окончивших в разные времена престижный Маульбронн: Кеплера, Гессе, Гельдерлина и Каролины Шеллинг, так удачно сменившей одну известную фамилию на другую.¹⁶

– Да, мы все-таки великий народ, и этому величию не страшна какая-то там изнасилованная девка...

– О чем ты? – спросила Кристель и тут же пожалела о своем вопросе.

– О чем? – В голосе Карлхайнца было неподдельное удивление. – Видишь, во-он за тем столиком сидит прелестная компания? – Действительно, у самого входа сидели трое хорошо подвыпивших не то турков, не то югославов. – Давай-ка я сейчас подведу тебя к ним и предложу сделать то, что они, конечно, сделать с тобой не откажутся, а? А потом всю жизнь буду страдать и втихомолку целовать твой портретик...

Кристель молча встала и, сдерживая себя, взяла Карлхайнца за руку.

– Я все понимаю. Но... ничего невозможно изменить, милый. Поедем домой.

Дойдя до машины не шатаясь, Карлхайнц рухнул на переднее сиденье и с остервенением стал рвать гладкую плотную бумагу. В его руках блеснула дорогая серебряная рамка кабинетного портрета.

– Вот! Полюбуйся! Невинная Гретхен, то бишь, Хильда.

В неверном свете ночных огней Кристель увидела прелестное юное лицо в обрамлении замысловато-воздушной прически и невольно прикусила губы: в кукольных этих глазах она прочла точно те же страх, непонимание и тоску, которые теперь каждый день язвили ее сознание с фотографии русской рабыни...

¹⁶ Имеется в виду брак Каролины со Шлегелем.

* * *

За ремонтом старого дома пролетело лето, а в сентябре начиналась самая трудная пора в «Роткепхене», когда старики принимались болеть и волноваться в предчувствии осени, несмотря на мягкий климат, самой грустной и тяжелой поры. К тому же, так или иначе, все помнили скоропостижную смерть Бекмана; это была первая смерть за два года существования приюта. Кристель пропадала на работе с утра до вечера, а частенько и ночью: в середине августа младшая половина обитателей приступила к учебе, что требовало больших денежных вложений и постоянного присутствия. Карлхайнц готовился к выпуску новой модели водяного пылесоса, который должен был произвести фурор в пробной торговле на грядущем «Октоуберфесте». Порой они виделись лишь несколько дней или, точнее, ночей в неделю.

После того злосчастливого вечера в Маульбронне Кристель подвела его к фотографии испуганной русской девочки и безо всяких оценок рассказала, кто это. Карлхайнц, бросив на тускловатое изображение быстрый оценивающий взгляд, в тот же день отвез в Гамбург обещанный отцу портрет и никогда больше не говорил на эту тему.

По городу стала расплзаться мягкая рыжина, незаметно и безболезненно съедающая яркую зелень деревьев и радужные переливы цветов на улицах и домах. Темного пива стали продавать больше, чем светлого, начались распродажи. Везде – в магазинах, конторах, спортивных клубах – появился почти незаметный, но дразнящий и обещающий аромат первого молодого вина.

Раньше в такие дни Кристель обычно уезжала на давно и неизвестно зачем арендуемый Адельхайд кусок земли в десяти минутах езды от Эсслингена. Мгновенно загорающаяся и тут же остывающая ко всему, Адельхайд поначалу устроила там прелестный игрушечный домик. Кованый мангал по рисункам семнадцатого века, колодец, какие стояли в любой южногерманской деревне лет двести тому назад, и даже некое пространство, размерами три на четыре метра, должно изображать огород. Кристель еще помнила, как мать, вся затаенная в кожу семидесятых, взмахивая гривой доходящих до бедер волос, показывала всем приезжающим сюда два кустика клубники, куст белой смородины и квадратный метр суперэлитной картошки. Теперь там царил запустение, скрипел на ветру проржавевший мангал, а в домике пахло нежилым. Но Кристель любила эту полную отрешенность от быта, пахнувшие дождем и костром старые спальные мешки и слышный по ночам ручей, по которому в детстве ей запрещали бродить босиком. Она обычно приезжала сюда ближе к вечеру и, не утруждаясь готовкой, пила пиво, закусывала копченым мясом из взятой с собой упаковки, а потом часами сидела на пороге, глядя, как шевелятся листья и дышит трава. Своих мужчин она сюда не привозила никогда. Это был, выражаясь высоким немецким слогом, заповедник ее души.

Но сейчас, накануне праздника, она дозвонилась до пропадавшего в бесчисленных коридорах и полигонах «Боша» Карлхайнца и просто поставила его в известность, что ровно в девять она ждет его у ратуши и что утром у него уже не будет возможности заехать домой. Выкроив время, которого перед таким днем катастрофически не хватало, – «Роткепхен» всегда в полном составе являлся на Рыночную площадь, где начинался фестиваль, и это стоило персоналу невероятных трудов, – Кристель успела завезти в загородный дом продукты, вино и пару пакетов белья. В девять она увидела Карлхайнца в джинсах, со спортивной сумкой через плечо.

– Ты что, собираешься завтра блистать среди администрации мокасинами и старыми «рэнглерами»? – удивилась она.

– Нет, я просто собираюсь плюнуть на официальное участие и болтаться по городу как простой смертный, получая все примитивные удовольствия. Я и так за два месяца отдыхал всего пять дней.

– В таком случае нам принадлежит больше, чем ночь! Поехали.

По дороге Карлхайнц задумчиво оглядывал взгорки и маленькие долины, перерезанные бесчисленными ручьями.

– Странно, что я так быстро привык к югу.

– Он мягкий, и в нем чувствуется доброта. И если даже колдовство, то веселое, не то что в твоём Гамбурге, где от речного тумана все время чувствуешь себя в каком-то гнилом дурмане, честное слово! Я бы и месяца не смогла прожить под вашим постоянным ветром, он, на пару с серыми камнями, просто высасывает душу.

– Мы, северяне, – бродяги, в отличие от вас. Мы ветер, а вы земля... Да. Порой я ощущаю всю неопровержимость этого.

– Когда же?

– Когда вхожу в тебя, тяжелую и податливо-влажную, и ты готова принимать меня бесконечно, как истинная земля, но я даже не вода, не дождь, я только ветер и потому мимолетен... Едва успев насладиться, улетаю в иное, к иному...

– Глупости, – нахмурилась Кристель, – ты изумительный любовник. Кстати, ты даже не спросил, куда мы едем.

Словно не слыша ее последнего вопроса, Карлхайнц затянулся дорогой сигаретой.

– Я, в общем-то, имел в виду даже не постель, не только постель... Но это ничего. Ничего. Замечательное слово, а? Говорят, его очень любят русские, но употребляют совсем не так, как мы. Отец как-то рассказывал мне, что понял всю его прелесть только на второй год пребывания под Плескау: в нем присутствуют и христианское смирение, и покорность року, и в то же время твердая вера в наступление лучшего. Они все стали так говорить – он утверждает, помогало.

– Зачем ты опять? Сейчас мы с тобой наконец вдвоем, а впереди природа и любовь.

Уже в полной темноте они оставили «форд» у ручья и по мокрой траве пробрались в домик. Ни еда, ни вино, ни даже белье не понадобились: Карлхайнц, не дав Кристель стянуть куртку, подмял ее прямо на отсыревших, стопкой сложенных одеялах. И были в этом и злость, и надежда, и тоска по недостижимому, и сознание своей силы, но не было нежности. А потом он брал ее, прижав к стволу старой бесплодной яблони, а потом – усадив на край круглого ветшающего колодца, молча, властно, почти сурово. Кристель не жалела об отсутствующей нежности, она знала, что ее нежности хватит на двоих, а ему, избравшему путь за все отвечающего в этой жизни мужчины, нежность, может быть, даже помеха. Она только радовалась тому ощущению равенства, которое соединяло их не только в повседневности, но и в этих длинных осенних ночах. Лежа под утро на кое-как брошенном новом белье и чувствуя себя первозданной в не смытых под душем цивилизации следах его страсти, Кристель осторожно, чтобы не разбудить возлюбленного, чье лицо, в отличие от других, и во сне после ночи любви не приняло мальчишески-нежного выражения, вытянула из пачки сигарету, четвертую за эту осень.

За разноцветными стеклышками единственного окна занимался рассвет, впереди было три дня бездумного и веселого праздника, затем три месяца не менее увлекательной работы и – свадьба, которая должна была окончательно замкнуть счастливый круг.

Через две недели Кристель Хелькопф исполнялось двадцать шесть лет.

* * *

Праздник, начавшийся с первыми лучами солнца на Рыночной площади, к полудню затопил весь город, но Кристель, вынужденная первую половину дня оставаться со своими подопечными, не расстраивалась, что пропустила такие развлечения, как поглощение пива городским мэром или запуск огромного воздушного шара, купол которого расписывали любыми надписями все желающие. Она получала гораздо большее удовольствие, видя загорающиеся осмысленным огнем глаза детей в колясках и полное преобразование своих стариков, разодетых

в национальные костюмы и пускавшихся во все тяжкие, вроде плясок да пары рюмочек айнциана¹⁷. Она торопилась лишь к скачкам, традиционному местному аттракциону. Добравшись до стадиона, что было весьма непросто, поскольку дорогу ей то и дело преграждали деревянные маски размером с человека, кривляющиеся ведьмы, которых на юге с давних пор изображают мужчины, сорокаметровые столы, протянутые через бульвары и улицы, неожиданные фейерверки и костры, Кристель просочилась сквозь толпу поближе к полю, где над конями уже курилось легкое облачко пара, и на второй же лошади увидела Карлхайнца. Вот это сюрприз! Он сидел на хитрой, то и дело норовящей укусить зазевавшегося всадника за колено, кобыле, и Кристель мгновенно ощутила, как снова жаркой пустотой наливается от желания лоно, еще не успевшее остыть от минувшей ночи. Карлхайнец выглядел настоящим кентавром: длинные мускулистые ноги, затянутые в белые бриджи, нервно вздрагивали в такт лошадиным бокам, а лицо дышало непривычной открытостью. Он пришел вторым, что было очень неплохим результатом для человека, севшего на лошадь полгода назад.

– Все-таки в мужчине на коне есть что-то ужасно эротичное, – призналась Кристель, прижимаясь к Карлхайнцу, от которого еще пахло острым конским потом. Она втянула будоражащий запах. – От тебя и пахнет-то зверем.

– Полцарства за немедленный душ и два – за любимый одеколон! Наши распорядители, как всегда, умудряются создать в конных раздевалках толпу, видимо, как и ты, полагая, что от настоящего мужчины должно за километр нести потным телом. Но это хорошо раз в году, уж поверь мне.

Минут через сорок они сидели за одним из сотен длинных дубовых столов и пили, как и положено, в порядке строгой очередности сначала «Шум Левен», потом «Шварцер Апотекер» и уж только затем любимый местный «Динкельакер». Рядом веселилась компания человек из двадцати. Судя по разговорам, учащиеся выпускного класса. Взгляд Кристель сразу привлекла высокая девушка с чуть диковатыми серыми глазами на красивом, каком-то нездешнем лице.

– Посмотри, вот он, почти выродившийся тип нашей северной красоты, – словно читая ее мысли, улыбнулся Карлхайнец, и было видно, что он получает наслаждение от созерцания подлинно немецкого лица.

Неожиданно Кристель увидела подходившего к столу огромного, как медведь, мужчину с окладистой полуседой бородой.

– Господин Гроу! – радостно крикнула она и вскочила ему навстречу. Это был директор ее гимназии.

– Все слышал, все видел и премного тобой доволен, – забасил Гроу. Его маленькие, глубоко спрятанные в лохматые брови глаза, лукаво блестели. – А я, вот, вывожу птенцов.

– Что-о?!

– Видишь, сколько. – Он ткнул толстым, заросшим густым волосом пальцем в сторону без умолку трещавших юношей и девушек. – Причем, большая часть – не мои, то есть, привозные. Ведь и не отличишь, а?

– Неужели откуда-нибудь из Ангермунде? – предположила Кристель, украдкой еще раз оглядывая ребят. Нет, все они были одинаково прилично одеты, все держались абсолютно непринужденно, а речь гармонично смешивалась с общим гулом и гамом Шиллерплатца.

– Мелко, мелко, Крисхен. Из России, из Санкт-Петербурга. Языковой обмен между школами, первый эксперимент. Наши ездили туда еще в мае.

– Вы нас разыгрываете, – вступил в разговор заинтригованный таким поворотом событий Карлхайнец. – Речь вполне грамотная, если сейчас вообще можно говорить о правильности речи у тинейджеров. Чуть отдает мекленбургским выговором – да, но... И вот эта красавица с росписей Хоеншвангау тоже оттуда?

¹⁷ Айнциан – южно-немецкая яблочная водка.

– Именно, молодой человек. Гордость школы. Катя, подойдите, пожалуйста, сюда! – хмыкнув в бороду, позвал Гроу. – Фрау Хелькопф, моя бывшая ученица, герр?.. – Карлхайнц представился. – Герр Хинш – фройляйн Ушакова. Мои друзья, кажется, испытывают некоторые сомнения в том, что вы русская.

Девушка обезоруживающе улыбнулась и протянула Кристель руку.

– Я так рада познакомиться еще с кем-то, потому что просто влюблена в Вюртемберг, в ваши виноградники, в ваш язык, в ваш разумный эгоизм, наконец! Вам трудно представить, какой это урок для меня. Урок и... счастье. – «Катя» говорила правильно, лишь иногда подыскивая слова.

– В таком случае, может быть, вы пообедаете с нами?

– С удовольствием, если меня отпустит господин Гроу.

– Домой? – наклонившись к Карлхайнцу, тихонько спросила Кристель на редко употребляемом местном диалекте.

– Нет, мы отправляемся в «Голубой ангел»! – громко ответил он, привлекая всеобщее внимание.

«Голубой ангел» был самым дорогим и престижным рестораном, там собиралась коммерческая элита.

– Я не одета, – почти в один голос заявили Кристель и русская.

– Ничего, – усмехаясь и нажимая на это слово ответил Карлхайнц. – Ничего, – повторил он еще раз, уже по-русски. «Катя» и Гроу понимающе переглянулись. – При наличии денег и умения держаться это, в общем-то, не имеет значения. Ни-че-го.

«Ангел», учитывая сегодняшний праздник, был еще полупустым, и Карлхайнц занял столик в самом центре. Русская смотрела вокруг ясными глазами, а Кристель исподволь поглядывала на нее: она была так не похожа на затравленную девочку, купленную у райха за символическую сумму. «Впрочем, почему я ищу какого-то сходства? – тут же одернула себя Кристель. – Эта девочка приехала сюда как... Как кто? Победительница? Но всем известно, что в Союзе по карточкам выдают даже крупу. Просительница? Но она ничего не просит, наоборот, одаряет их своей откровенной любовью. Зачем она вообще здесь? Может быть, хочет почувствовать некое душевное превосходство? Прельстить красотой богатого золингеновского коммерсанта?» – Кристель окончательно запуталась, тем более что непринужденная «Катя» нравилась ей с каждой минутой все больше.

Тем временем подали заказанные Карлхайнцем спаржу, омары и шампанское, и, незаметно скосив глаза, Кристель заметила его полный нехорошего любопытства взгляд, которым он как бы гостеприимно разглядывал русскую и ее на секунду задержавшиеся над десятком столовых приборов руки. «Умница», – обрадовалась Кристель, увидев, что девушка взяла то, с чем хорошо умеет обращаться, а не стала украдкой подглядывать за ними.

Обед шел вполне нормально, хотя и несколько напряженно. Карлхайнц усиленно подливал девушке шампанское, а Кристель расспрашивала о Петербурге.

– Это город, который ни с чем сравнить нельзя, – говорила русская, и при упоминании о родном городе лицо ее становилось строгим и еще более одухотворенным. – Говорят, что он похож на Венецию, Хельсинки, Гамбург – не верьте, он совершенно уникален. Уникален даже, может быть, не архитектурой, но духом...

– А правда ли, – мягко прервал ее Карлхайнц, – что теперь многие утверждают, что ваш город надо было сдать и тем самым избежать чудовищных жертв, людоедства, падения морали, впрочем, вполне простительной?

Голубоватая бледность залила лицо девушки.

– И вы разделяете эту точку зрения? – вдруг каким-то звонким, почти детским голосом спросила она.

– М-м-м... – Карлхайнц откинулся на спинку стула и медленно, как во сне, закурил сигару. – Вероятно, да. Я и вообще считаю, что поражение России было бы предпочтительней, поскольку сейчас не существовала бы проблема нищих, полуголодных людей, отравленных, как ядом, разъедающими душу марксистскими теориями. Как русских, так и нас, немцев.

На этот раз «Катя» покраснела и неожиданно схватила Кристель за руку.

– Простите, я знаю, что поступаю невежливо, но иначе я не могу. Прошу вас, выйдемте отсюда, прошу вас. – Под ледяными взглядами кельнеров они вышли.

На улице, где продолжал шуметь говор тысяч голосов и уже начали взрываться шутихи, «Катя» подошла вплотную к Карлхайнцу, и на мгновение он испытал странное ощущение смертельного восторга от напрягшегося, как струна, юного жаркого тела, полуприкрытых серых глаз, раздувшихся ноздрей и той волны ненависти, которая шла от девочки, так прекрасно говорившей на его родном языке.

– Поймите, я говорю вам это только потому, что слишком уважаю, слишком люблю Германию, и именно эта любовь дает мне право сказать правду. Вы... Вы цепляетесь за лживые представления о моем народе, потому что вам удобней и проще с ними жить. Мой прадед погиб под Сталинградом, моя прабабушка пережила блокаду, и вы... Вы... – Девушка задыхалась, и красивое лицо ее стало совсем диким. Она стиснула в кулаки длинные пальцы и с отчаянной силой топнула ногой, затянутой в высокие немецкие кроссовки. – Вы сейчас же, здесь, извинитесь перед их памятью. Ну?! – вдруг грубо добавила она, и Кристель, с ужасом наблюдавшей эту сцену, показалось, что девочка сейчас ударит Карлхайнца по лицу.

– Я полагаю, что вы превратно меня поняли, фройляйн, – процедил он сквозь зубы. – Разумеется, память павших священна для всех...

– Извинитесь, – снова заливаясь бледностью, прошептала «Катя». – Извинитесь.

– Что ж, если вы так настаиваете...

– Ох, простите, простите меня, Кристель! – всхлипнула девушка и, на секунду прижавшись полыхавшей жаром щекой к плечу Кристель, бегом скрылась в пестрой толпе.

Весь остаток дня они провели, стараясь следовать обычной праздничной программе: стреляя в тирах, попивая молодой и пенный зеленоватый рейнвейн и сталкиваясь то тут, то там со множеством знакомых. Русская девушка растаяла, словно облачко в густо-синем октябрьском небе. Но перед сном, положив твердую ладонь на грудь Кристель, Карлхайнц покачал головой и задумчиво произнес:

– Как жаль, что эта девушка все-таки не немка... Будь она немкой, никогда так не поступила бы.

На следующий вечер, во время ужина в новой белоснежной столовой, Карлхайнц неожиданно заинтересовался у Кристель, как она собирается отмечать день рождения.

– Бог мой, что за вопрос! – рассмеялась Кристель, как рассмеялись бы в ответ миллионы ее соотечественниц. – Раннее утро со свечами и подарками, трогательные подношения в «Кепхене», а вечером «Бауэр-хофф»? Или дома? – чуть удивленно уточнила она.

– Ни то и не другое.

– Неужели ты предлагаешь патриархальный вечер с родственниками, собаками и однокашниками по обоим учебным заведениям? В таком случае я предпочту одиночество.

– Думаю, что это весьма реально.

– Неужели? Таково твое желание?

– Таков мой подарок. – И Карлхайнц молча положил перед нею узкую полосу авиабилета и несколько скрепленных между собой бумаг.

Кристель порозовела от удовольствия. Уже который год она мечтала о путешествии на Кубу, привлекавшую своей полной противоположностью ее собственным вкусам, пристрастиям, убеждениям. Как трогательно с его стороны! Но, живо представив себя одну среди гулких пальм и мулатов со звериной грацией, Кристель помрачнела.

– Но почему я одна? Ведь разделенное на два на два и умножается.

– Потому что мне там делать нечего. Мои взгляды не изменишь, да я этого и не хочу. Но ты... Ты можешь попробовать. Не для того, чтобы изменить что-то, но для того, чтобы знать, как противостоять. Как ты могла вчера заметить, оппоненты они сильные. Может быть, даже сильнее нас.

– Разве вчера мы спорили о чем-то с латинос? – неуверенно спросила Кристель.

– Причем здесь латинос?! – Карлхайнц тряхнул головой, и его светлые волосы, зачесанные высокой волной, как у героев Лени Рифеншталь, упали на гладкий лоб. – Перед тобой тур в Россию. Три дня. Я выбрал Санкт-Петербург, но ты в любой момент можешь изменить маршрут. Такси из аэропорта, личный переводчик, приличный отель. Программа – по твоему усмотрению.

– Ты сошел с ума, – прошептала Кристель. – Там... холод, голод... а я приеду сытая, хорошо одетая, немка, в конце концов... И зачем? Я... я боюсь, тем более, Петербург... Ужасы осады...

– Ну, туристов кормят везде практически одинаково, а все остальное – чушь. – В голосе Карлхайнца послышались стальные ноты. – Ты поедешь и поймешь. Я хочу, чтобы ты полностью освободилась от своего комплекса, а, как известно, радикальные меры наиболее эффективны. Гордая «Катя» оказалась последней каплей. Да и у тебя на стене, наверное, не просто так висит это порывевшее фото, а? Словом... – он не договорил и узкими губами зажал приоткрывшийся к ненужным возражениям рот.

Часа в три ночи, когда кончилась переключка церковей и Карлхайнц расслабил наконец свое гибкое, как у пантеры, тело, Кристель тихонько встала и бесшумно поднялась на третий этаж, где до рассвета просидела в своей классной.

* * *

На следующий день Кристель позвонила в лабораторию и попросила Карлхайнца переночевать у себя, а сама, отложив дела, пришла к Хульдрайху, в его скромную, ничем не отличающуюся от жилья остальных обитателей приюта квартиру.

– Неужели свершилось чудо и всю твою работу вдруг сделала добрая фея? – улыбнулся Хульдрайх.

Кристель молча села по другую сторону письменного стола, напротив дяди, спешно убравшего в ящик тетрадь.

– Скажи мне, эта Марихен, она, что, вернулась домой?

– Ее заставили вернуться.

– То есть как «заставили»?

– Всех русских выслали в принудительном порядке, даже из нашей французской, самой лояльной зоны. Впрочем, она, конечно, сама хотела жить на родине.

– И больше ты, разумеется, никогда и ничего о ней не слышал?

– Нет. Но я пытался, – заторопился Хульдрайх. – Когда мне исполнился двадцать один год и я получил разрешение на посещение архивов, я попробовал найти документы о продаже, но... Ведь это был уже сорок второй, наша хваленая пунктуальность начала расплзаться по швам. А папины дневники были уничтожены как вещественные доказательства там, в тюрьме. Мама же... Мама в последнее время почему-то была очень строга с Марихен, а после казни отца вообще не хотела говорить о ней. Даже со мной и даже много лет спустя. А я? Мне же было всего девять, когда она уехала, и у меня была своя мальчишеская жизнь. Да и что теперь вспоминать об этом.

– И все-таки, как ты думаешь, ведь где-то должна сохраниться какая-нибудь информация? В связи с воссоединением, например? Или, вообще, с личными симпатиями господина канцлера?

– Возможно, возможно. Я слышал, что теперь есть какие-то организации, собирающие средства в пользу бывших остарбайтеров... Но зачем тебе это?

Кристель медлила, словно не желала расставаться со своей тайной, но потом спокойно и твердо ответила:

– Я еду в Россию.

Хульдрайх невольно прижал руку к левой стороне груди.

– Для того, чтобы найти Марихен?!

– Я пока еще в здравом уме, дядя, – сама не понимая, почему, довольно резко ответила Кристель. – Карлхайнц подарил мне трехдневный тур в Петербург. Можно поехать и в другое место, но я подумала...

– Да, да! Конечно, в Петербург, – заторопился Хульдрайх. – Говорят, это нечто сверхъестественное, что это почти Европа. И все-таки... Она была тоже откуда-то с севера, и, может быть, ты... Только пойми, я ни о чем не прошу.

Кристель плотнее устроилась на стуле и, достав пачку сигарет, протянула Хульдрайху и закурила сама.

– А теперь ответь мне, почему всю жизнь ты носишься с памятью о ничем не выдающейся, наверное, даже неграмотной русской девочке? Что, ничего в жизни не было интереснее? Или ты по-детски был в нее влюблен и теперь до конца дней не можешь избавиться от светлого чувства? – Кристель говорила эти слова, пугаясь самой себя и слыша в своих интонациях болезненное ерничанье Карлхайнца, поразившее ее во время рассказа о погибшей невесте его отца. Но она чувствовала, что иначе не сможет ни о чем расспросить, ибо, будучи истинной немкой, глубоко таит свои интимные переживания и уважает тайны других. Оставалась наигранная грубость и жесткость. Хульдрайх понял ее.

– Ты ведь знаешь, как сильны бывают живые детские впечатления, особенно на фоне правильной, упорядоченной, несмотря на войну, жизни. А Марихен – она была иная, существо из другого мира, инопланетянка. Она по-другому говорила, по-другому двигалась, и мне казалось, что даже голова у нее устроена по-другому. Сначала я ее боялся, потом привык, потом привязался, а потом, уже в самом конце, когда папа почти перестал появляться дома, мама работала с утра до вечера, и все вокруг боялись, боялись и проклинали, боялись и ругали, я вдруг однажды понял, что она самая свободная среди всех людей, которых я тогда знал. Да, она, не имевшая ничего, буквально ни-че-го, ибо все на ней было наше, запираемая на ночь, как собака, без разрешения мамы не смевшая выходить на улицу, она была свободна, в отличие от всех нас, ее хозяев. Разумеется, это я сейчас тебе все так понятно говорю, тогда это было, скорее, озарение, интуиция, чувство.

И я ужасно полюбил ее за это, ужасно. К тому же, она была действительно очень добрая. Мама покупала конфеты на черном рынке и всегда давала ей одну, раз в неделю. Так она непременно остановит меня где-нибудь на лестнице и сунет эту конфету, растаявшую уже всю... – при упоминании об этой жалкой конфете, неприметном событии, со времени которого прошло больше четверти века, в голосе взрослого мужчины послышались с трудом сдерживаемые слезы. «Мы никогда и нигде не будем настоящими победителями, – подумала Кристель, – при таких-то чувствах! Надежды Карлхайнца напрасны...» Но она не успела домыслить – Хульдрайх справился с собой и уже вполне спокойно продолжил:

– Это уже потом, когда я стал взрослым, к тем пронзительным воспоминаниям детства присосались знания о нацистских зверствах и тому подобном. Знаешь, мысль о том, что ее запросто могли сжечь где-нибудь под Веймаром, до сих пор наполняет меня ужасом. Но от чувства вины, которым, как я посмотрю, страдают у нас теперь многие, я, как ни странно, сво-

боден. Вероятно, оно заменилось у меня чувством любви. И за это я тоже благодарен маленькой неприметной Марихен. – Хульдрайх умолк и потянулся за новой сигаретой.

– Дядя! – укоризненно остановила его движение Кристель. – Извини, но я с детства слышу о твоём больном сердце. А мама? – вдруг, словно что-то вспомнив, спросила она. – Мама не любила ее? Почему?

Хульдрайх опустил седеющую голову.

– Ну, во-первых, Адель почти ее не помнит, и, к тому же, она и тогда была очень взбалмошной и капризной, ею занималась, в основном, мама, баловала... Она могла иногда даже ударить русскую, несерьезно, конечно, как ребенок. Но Марихен никогда не жаловалась... В общем, я и сам не совсем понимаю. Ты все-таки обратись в этот комитет, – насупившись, закончил он. – Когда ты едешь?

– Как раз в мой день рождения.

– В таком случае, я сам успею все сделать.

И за день до отъезда во Франкфурт, откуда улетал самолет в Россию, Хульдрайх принес ей распечатанный на компьютере листок, на котором было всего четыре строчки: «Мария Ф. Костылева, 1928 –? место регистрации: Советский Союз (Россия), город Плескау (Псков), село Лог; дата регистрации: 20 мая 1942; исполнитель: командир 2 роты 144 п/полка 18 армии лейтенант Вальтер Хинш.»

* * *

Крытый манеж подавлял своим пространством, гулким, безлюдным и одновременно замкнутым со всех сторон; пахло слабым, почти выветрившимся запахом лошадей и пыли, но опилки были свежими и идеально выровненными. Из охраны остались только два солдата, на вид казавшиеся какими-то домашними. Они сидели на невысоких трибунах по обеим сторонам выстроенного в длинный ряд очередного товара, и по всему было заметно, что эта процедура уже давно им надоела и что свое присутствие здесь они считают совершенно излишним: куда бежать не знаящим ни слова, в явно нездешней одежде, растерянным мальчишкам и девочкам? Их остановит первый же гражданин. И солдаты лениво перебрасывались шутками, поставив винтовки между ног. Один из них даже прошелся вдоль ряда, с любопытством заглядывая в девичьи лица, но, видимо, не найдя ничего, заслуживающего интереса, снова уселся на трибуну.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.